Иосиф
ГЕРАСИМОВ



МИГ ЕДИНЫЙ

РАССКАЗ

Рисунки
В. СКРЫЛЕВА.



Ничего я не узнавал в этом поселке, но ничего и не осталось здесь от тех давних довоенных лет: деревянные постройки и бараки снесли, воздвигли блочные, панельные да из белого кирпича здания. Я с большим трудом отыскал, где стоял прежде наш обшитый почернелым тесом, украшенный наличниками, скособочившийся на кирпичном фундаменте одноэтажный домишко. Теперь там разбили небольшой сквер; я определил, что это именно то место, когда увидел неподалеку характерную излучину пруда, которую в детстве наблюдал из окна. Припомнилось: в десяти минутах ходьбы должна быть проходная завода; так оно и оказалось, только призаводская площадь, управленческое здание и сами проходные — все, все было перестроено, все обрело современный бетонно-стеклянный вид. И еще мне показалось — в скверике сохранились два куста сирени, что росли у нас во дворе подле дровяника, но, может быть, только показалось...

Мы жили в большой светлой комнате. Судя по всему, у старых хозяев этого дома — то ли торгашей, то ли мещан, а возможно, и заводских служащих, теперь уж я не помню, но тогда говорили, кому прежде принадлежал дом,— была гостиная, а затем эта комната в ордере стала значиться как жилая площадь с добавлением — проходная; эпитет этот указывал, что через бывшую гостиную могли проходить по любой надобности и в любое время жильцы соседних двух комнат. В одной из них обитала семья Тарутиных из трех человек: Степана Тимофеевича, квадратного, крепкого и молчаливого мужика с загадочной для меня по тем временам профессией — вальцовщик, его жены «тети Нади» и самого вредного на свете существа — их дочки Лидуни, которая норовила каждый день сотворить мне какую-нибудь гадость, сунуть мимоходом ледяную сосульку в ноги под одеяло или же кинуть на голову котенка. Проделывала она это так ловко и незаметно, что родители мои лишь вздрагивали от испуга, не понимая, почему я просыпаюсь с таким криком. А в другой комнате, вернее, в комнатушке, похожей на чулан, но с окном, жила Елена — мой праздник и моя первая в жизни тоска...

По утрам я ждал мгновения, когда скрипнет на несмазанных петлях высокая, с облупившейся белой краской дверь и в розовой сорочке, спортивных синих рейтузах, перекинув через плечо вафельное по-

лотенце, сжимая в руке мыльницу и зубную щетку, Елена ступит в нашу комнату, осененная распущенными золотистыми волосами, и, сморщив небольшой, вздернутый вверх нос, воскликнет: «С утренним приветом!» — и сожмет левую руку в кулачок «по-спартаковски», как делал это живший на второй половине дома немец Вальтер.

Елена задерживалась на какое-то время у порога, и мне хорошо было ее видно. Если это происходило зимой, то на нее падал яркий свет электрической лампочки, висевшей на грязно-сером проводе под потолком, а если летом — то ее освещали обильные лучи утреннего солнца, которые текли в окно. Елена казалась мне легкой, чудилось — она может взмахнуть вафельным полотенцем и взлететь, и взгляд ее синих глаз был легкий. Первым делом она подмигивала мне, а потом уж кивала отцу, матери и быстро шла через комнату на кухню, где находилась умывальная раковина. Мать провожала ее мягким, близоруким взглядом, а отец словно бы очерчивал глазами упругую фигуру, и мне становилось неловко, потому что я уже начинал понимать такие взгляды.

Все население нашего дома по утрам, с гудком — тогда еще были у заводов свои гудки, наш отличался низким тембром и особой хрипотцой, будто норовил все время откашляться,— уходило на завод, кроме матери, которая шла на трамвайную остановку, чтобы ехать в больницу, где она работала медицинской сестрой. И в доме оставались две враждующие стороны: я и Лидуня,—но проходило время, мы собирали свои книжки и тетрадки и чинно направлялись в школу, в один и тот же класс. Едва калитка оставалась за нашими спинами, как лицо Лидуни делалось каменным и невозмутимым, она старалась идти на полшага впереди меня, чтобы со стороны могли подумать, что я ее провожаю,— так, по ее мнению, должны были двигаться по улице воспитанные мальчик и девочка, и, видимо, от осознания этого лицо ее обретало некую святость.

С той поры сохранились в моей памяти вот эти утренние сборы в доме да еще запахи вкусной еды в выходные и праздничные дни, которые доносились из большой, общей для всех жильцов кухни, и среди этих запахов особо выделялся аромат жареных, из кислого теста пышек, считавшихся в те времена, вместе с «постным» сахаром, настоящей праздничной едой. И еще помню летние вечера на берегу пруда, где собирались группами рабочие, рассаживались по травяным откосам и играли на деньги в лото, и в игре этой бойчее всех вели себя женщины, мужчины же азарт проявляли редко, но играть любили. Наверное, если постараться, то многое можно вспомнить, хотя здесь прошла лишь часть моего детства, но что никогда не исчезало из памяти, приютившись где-то в дальнем уголке ее,— страшная и не разгаданная во многом история с Еленой, или, как называла мама ее, «Ленушкой». И когда мать произносила это имя, то мягко пришепетывала...

Возможно, были у нас дни, когда мы подолгу оставались вместе, даже обязательно были, и я что-то припоминаю, как ходили в кино, как добродушно приставали в клубе к ней парни, а она, смеясь, отмахивалась, и слышалось за Ленушкой презрительное «недотрога», а мне это нравилось, и гордился, что я рядом с ней. Но хорошо помню только тот морозный день марта, когда мы оба остались в доме — я по болезни, а она по каким-то своим причинам,— и поначалу Ленушка все ходила по нашей проходной комнате, скрестив руки на груди — у нее была такая привычка,— и с тоской поглядывала за широкое окно, где застыли под солнцем проклюнувшиеся от теплых ветров, а ныне прихваченные морозцем ручьи, где чернел лед пруда — он всегда у нас был черным, как и пролежавший несколько дней снег,— и где сияло яркое небо. И от этого ее хождения мне становилось тревожно, потому что прежде ее такой — ушедшей в себя — я не видел.

Я сидел за обеденным столом, покрытым старой клеенкой, на которой остались следы несмываемых чернильных пятен, круги от кастрюль и сковородок, и пытался что-то рисовать в альбоме, как вдруг услышал за спиной раздраженное: «Да кто же так рисует!.. Ох ты, господи, и карандаша-то как следует держать не умеет. Тоже мне, пролетарий всех стран!»

Злость не шла ей, исказила ее лицо, глаза потемнели, губы стали косыми, и я невольно отшатнулся, словно испугался, что Ленушка может ударить, и она это сразу почувствовала, пригасила раздражение в себе, и, чтобы, видимо, сгладить неловкость, потянулась к моей руке, и еще грубовато сказала: «Дай-ка! — и взяла карандаш.— Смотри!.. Вот как линию вести надо».

Она склонилась надо мной, ее золотистые волосы коснулись щеки, и сразу отступило все остальное, я только следил за ее рукой, как вела она линию по бумаге, и чувствовал Ленушку рядом, и было мне от этого хорошо.

«Вот так рисуют, так...» — сказала она и откинула карандаш, и только тогда я разглядел ее руку по-настоящему; может быть, я и раньше обращал внимание на ее пальцы, но не вглядывался в них, а хорошо рассмотрел их только сейчас. Это были длинные, гибкие пальцы, иссеченные зарубцевавшимися ссадинами и следами от порезов и ожогов, на них словно бы была вторая кожа — местами грубая, заскорузлая,— и сквозь нее проглядывала другая — нежная, даже холеная. Очень мне запомнились эти руки...

В какое-то мгновение она порывисто прижала мою голову к себе, и я чуть не задохнулся от терпкого и сладкого запаха ее тела. «Милый ты мой шкет,— пробормотала она.— Ох, как тошно-то мне, тошно... Помру я скоро. А как же не хочется...»

Я оттолкнул ее, заглянул в лицо, но она не плакала, глаза были строги и обращены куда-то за окно, в солнечную и грязно-синюю даль. Что она там высматривала?.. Длилось это недолго, Ленушка вдруг рассмеялась, и смех вовсе не был нервным или вызывающим. Я проследил за ее взглядом и увидел, как стоит посреди застывшей темно-синей лужи Митяй — наш поселковый пьяница — в стареньком, затертом пальто и дырявой шапке-ушанке и пытается сделать шаг, да никак не может, ноги его оскальзывают, и сам он шатается, но не падает — получалось нечто вроде ходьбы на месте. И мне тоже стало смешно, и я расхохотался, а Митяй, будто услышал смех, сжал грязный кулак, погрозил в сторону нашего дома и тут же решительно шагнул на твердую дорогу. Это нас еще больше развеселило, и Ленушка сказала: «Ну их всех к черту, шкет. Давай чай пить. Хочешь, я постного сахара наварю?»

Спустя некоторое время мы сидели за столом и блаженствовали, откусывая от серых сладких кусков, запивали их чаем, и Елена говорила со мной, она говорила так, словно я был взрослым парнем, и это-то больше всего мне нравилось.

«Что же дальше? — спрашивала она и склоняла голову, как бы прислушивалась.— Нет, вот ты только подумай и прикинь: что же дальше?.. Это каждый

должен спрашивать себя. Ты сейчас сидишь, пьешь чай, а должен думать: чего же мне в этой жизни еще надо, и чего хотел бы добиться?.. Ты, когда подрастешь, что собираешься делать?» И я отвечал: «На завод пойду».

Я отвечал искренне, потому что в это твердо верил, и не только из-за того, что отец мой был заводским рабочим и у нас в поселке, кто ни рос, все считали, что дорога у них одна — через проходную, за большую кирпичную стену. Кроме этого, завод был для меня понятием необыкновенным, о нем говорили в нашем доме большей частью как о существе живом, и машины воспринимались мной как существа живые — ну, видимо, как лошади или быки,— а там, подле этих живых существ, шла загадочная и заманчивая для меня жизнь, которую я еще своими глазами не видел.

Елена поморщилась. «На завод, на завод,—пробурчала она.— А почему обязательно на завод?.. Других мест, что ли, нету?.. Мир такой большой, а у тебя он с версту, да и только».

«Но ведь ты ж пошла на завод».

«Конечно, — кивнула она.— Но мне это надо было... Понимаешь, м н е, не какому-то там дяде Пете, или ячейке, или комитету — мне самой. Сама выбрала, сама и пошла, а не пошла бы, уважать себя перестала...»

«Ну, и я сам».

«Нет,— покачала она головой,— ты не сам, ты, к а к в с е... Вот в чем штука, шкет...»

Наверное, еще мы о чем-то говорили, ведь у нас был по-настоящему с е р ь е з н ы й разговор, может быть, даже первый в моей жизни, и я запомнил Ленушкин строгий и требовательный, совсем нелегкий, как казалось мне прежде, взгляд и то, что за окном стоял синий, с морозцем день...

А потом— скорее всего, это было в конце марта, когда опять налетели на поселок теплые ветры, погнали по мостовым ручьи, и засверкали, залучились в колдобинах лужи, и я бежал через них, возвращаясь то ли из школы, то ли с кружка, домой, и уж достиг было калитки, как меня окликнули: «Эй, Уголек, погоди-ка!»

Я обернулся на голос и заметил человека, стоящего на припеке возле тесовой стены нашего дома. Он был в кожаной залихватской кепке, в сером полупальто с боковыми карманами — в них незнакомец глубоко засунул руки,— и еще из его одежды бросались в глаза мягкие, падающие гармошкой хромовые сапоги. Он был не наш, не поселковый, я бы мог поручиться, что не наш, хотя поселковые модники носили такие же полупальто, и кепки, и сапоги, но у этого они были как бы на два-три порядка повыше качеством. Лицом он загорелый, с серыми, веселыми глазами, и сразу мне чем-то понравился, стоял небрежно, перекатывая в губах длинную, крепкую папироску. Я было подумал, что он обознался, никто меня «Угольком» не называл, и только позднее понял, что придумал он эту кличку на ходу, увидев мои черные волосы.

Я подошел, и тогда он, не меняя позы, спросил: «В этом доме живешь?»

«Ага!»

«Елену знаешь?»

«Ага!»

Он помешкал, потом нехотя, будто это доставляло ему больших трудов, откинулся от стенки, вынул из карманов руки — они были обтянуты тонкими, черными перчатками,— снимать он их не стал, а достал из бокового кармана записную книжицу, карандаш, быстро что-то начеркал на бумаге и, вырвав листок, протянул мне: «На-ка, снеси!»

«Да ее дома нет»,— сказал я, потому что знал: со смены наши придут еще только через час.

«Дома,— уверенно ответил он.— И пусть ответ напишет. Я вон там буду... Во-он возле пруда, где дерево корявое, понял?.. Ну, так пш-шел!» — подогнал он.

Как-то у него все это ладно получалось, и я с охотой, чтоб угодить ему, рванулся с места, и влетел в кухню, и там увидел Елену, она сидела за столом и возилась с варенной в мундире картошкой, осторожно снимала с нее кожицу; картошка, видимо, еще была горяча, и Ленушка, дуя на нее, перебрасывала с руки на руку.

«А ты и вправду тут! — воскликнул я.— Чего так рано?»

«Так пришлось»,— ответила она неопределенно.

Тогда я поспешил, почему-то веря, что должен доставить ей своим сообщением радость, протянул записку, сказал: «А вот тебе письмецо от одного дяденьки».

Она отбросила картошку, так и не откусив от нее, взяла у меня записку, развернула, прочла, и у нее остановились глаза — другого сравнения я подобрать не могу, они именно остановились, словно замерли на одной точке, и в них на какое-то время образовалась пустота, потом они ожили, снова лихорадочно пробежали по тексту. Елена смяла записку и сунула ее в огонь шумевшего примуса.

«Это же надо,— сказала она, глядя на меня,— надо же... чтоб именно ты-то ее принес».

«Он ответа ждет»,— предупредил я.

«А пошел!..» — вдруг резко сказала она и быстро вышла из кухни. Я не знал, что делать, смотрел ей вслед, но, так и не решив, бежать ли за ней, сел к столу и принялся за картошку.

Елена не выходила из своей комнаты, а через час стали возвращаться со смены жильцы дома, и он наполнился разнообразными звуками: кряхтением, стонами, стуком посуды, перекличкой голосов...

А парня в кожаной кепке я встретил во второй раз, в тот же вечер возле клуба... На этой площади, освещенной фонарями под металлическими абажурами, похожими на эмалированные миски, в которых подавали кашу в заводской столовой, сосредоточивалась вечерняя жизнь поселка. Здесь был не только клуб, а стояли ларьки, торговавшие пивом, газетами, деревянные столы со скамейками, врытыми ножками в землю, здесь бойкие бабки предлагали семечки, а летом — вареных раков и соленую рыбешку, и еще сидел на этой площади хмурый, как ворон, с большим крючковатым и вечно простуженным носом дядя Арсен — чистильщик сапог; работы у него было мало, поселковые жители чистили сапоги сами, и только по праздникам кто-нибудь из модников взгромождался на высокий стул, как на трон, и высокомерно поглядывал на толпу: он был горд, потому что в этот день он себе п о з в о л я л.

И вот вечером на стуле чистильщика я увидел того самого человека, который остановил меня около дома, он сидел без всякой гордости, ссутулившись, перекатывая папироску в губах, и лениво смотрел, как старается дядя Арсен. Я не понимал, для чего этому человеку чистить сапоги, ведь стоит ему сделать несколько шагов, как не миновать лужи. Я смотрел на него, и мне начинало казаться, что его загорелое, усмешистое лицо давно мне знакомо, а когда чистильщик закончил свое дело и парень вскинул голову, зачем-то сняв при этом кепку, и на мгновение стали видны его рассыпчатые русые волосы, я вздрогнул: чем-то похож на Ленушку, только я никак не мог определить, чем именно. Он сунул деньги дяде Арсену, наверное, уплатил ему хорошо, потому что чистильщик даже привод-



нялся со своего места и несколько раз поклонился парню, но тот уже легко спрыгнул со стула, зашагал, и в самом деле, через лужи, к пивному ларьку.

Он увидел меня, но ничем особым не выказал этого, подошел, взял легко за плечо, и я сразу понял его жест, поддался ему, и так мы вместе подошли к ларьку.

«Тебе что-нибудь взять?» — просто спросил он. Я молчал. «Налейте кружку пива и стакан крем-соды»,— сказал он продавцу.

Я удивился и обрадовался, потому что и действительно любил крем-соду, мне казалось, она пахла далекими, далекими странами, где растут и цветут небывалые деревья и травы; я ведь ничего не сказал этому человеку, а он угадал мое желание. Мы стояли рядом и наслаждались каждый своим напитком; он отхлебнул из кружки несколько раз, стер с верхней губы белую пену и неторопливо спросил:

«Что же ответа не принес?»

«А она не написала... Закрылась у себя, и все».

«И все,— повторил он с насмешкой и опять отхлебнул несколько глотков пива, а потом уж снова спросил: — К ней парни-то ходят?»

Я понял, о чем он. Если бы это спросил другой, или же он сам, но не с той беспечной легкостью, придавшей его словам полную бесхитростность, может быть, я бы смутился или надерзил в ответ, но тут сказал искренне:

«Не-е-т, не ходят».

«Значит, совсем никого и не завела?»

«Вот и наши все в доме удивляются... Мама и то говорит: «Такая девушка, а никого у нее нет».

«Бывает»,— согласился парень. Он допил пиво, поставил кружку на прилавочек и, кивнув мне, сказал: «Пока». И пошел в сторону клуба в своих хорошо начищенных сапогах, презирая мартовскую грязь и лужи... Потом, сколько я ни пытался вспомнить: насторожило ли меня что-нибудь в этом человеке или же вызвало неприязнь? — не смог, знал только: всем он мне понравился, и я с интересом и сожалением, что так коротко было с ним общение, смотрел, как он исчезал за чертой света уличных фонарей.

А вот с Ленушкой нашей что-то случилось, она, видимо, не спала в эту ночь. Я проснулся, чтобы пойти на двор, а может быть, меня разбудил какой-то посторонний звук, но когда встал, то услышал возню в ее комнате, увидел из-под двери узкую полоску света — электричество у нас выключали после двенадцати, и скорее всего там горела керосиновая лампа или свеча. А утром, лишь скрипнула на несмазанных петлях высокая белая дверь и впустила в нашу проходную комнату Ленушку, я увидел, как та осунулась. Она была хмурой и не сказала своего: «С утренним приветом!» — а только кивнула и торопливо прошла на кухню. Мама посмотрела ей вслед и, покачав головой, вздохнула: «Не заболела ли девочка?»

Вечером Ленушка со смены домой не пришла, не пришла она и на второй, и на третий день, а на четвертый по поселку разнеслась страшная и неправдоподобная весть: Ленушку нашли убитой подле пруда в березовой роще. И тут же передавались подробности: ей нанесли в спину несколько ножевых ран... Слух этот подтвердили милиционеры, пришедшие к нам в дом,— они все обшарили в Ленушкиной комнате и унесли с собой какие-то вещи...

После того, как я узнал о ее смерти, со мной стало происходить нечто странное. Я воспринимал мир так, словно он был отделен от меня некоей стенкой, и из-за нее до меня доносились слабые сигналы жизни, будто в полусне я отвечал на вопросы милиционеров, которые что-то записывали сначала у нас дома, а потом вызывали меня с от-

цом в казенное, холодное помещение, где стены были окрашены в тяжелый зеленый цвет... И в тот день, когда происходила в клубе гражданская панихида, и Ленушка лежала в гробу, обитом красным, и над ней висело красное полотнище, и тошнотворно пахло хвоей,— вот только этот запах отчетливо ощущался мною, а все остальное тоже казалось отъединенным, происходящим по ту сторону моего сознания, поэтому я помню лишь какие-то отрывки из речей, произнесенных сначала в клубе, потом на кладбище у открытой глинистой могилы, и в этих речах Ленушку называли «ударницей», «авангардом» и другими мало мне понятными в то время словами и говорили, что пала она жертвой ненавистного врага.

Я так и двигался по земле в полузабытьи, и таким же — с одеревенелой головой и душой — вернулся со всеми домой, где пахло чесночными котлетами, их принесла из столовой тетя Надя, а дома «дожарила» на большой сковородке. Она ждала нас, не ходила на кладбище, готовила стол, потому что решено было всеми жильцами дома устроить поминки.

Стол накрыли в нашей комнате, а не на кухне, все-таки эта комната была самая большая, и на скатерть, кроме котлет, поставили прямо в тазу свекольный винегрет с селедкой и несколько бутылок водки. Когда все расселись, поднялся квадратный Степан Тимофеевич, сдвинул прямые черные брови и некоторое время молча держал граненый стакан, который казался хрупким в его расплющенной ладони. Его попросили сказать первым, потому что он работал вместе с Ленушкой в цехе, который все называли на заводе «новым», и, стало быть, должен был знать ее лучше других. Он подержал стакан, потом крякнул и произнес:

«Помянем убиенную, погибшую от гидры контрреволюции»,— и так сжал стакан, что показалось, он хрустнет в его ладони, а потом откинул назад квадратную голову и, резко взмахнув рукой, выпил водку одним глотком.

И тогда все выпили за столом, стали заботливо пододвигать друг другу котлеты и накладывать винегрет.

Рядом со мной сидел рыжий немец Вальтер, я не знаю, какая у него была фамилия, его так все и звали в поселке «немец Вальтер». Он родом был из Германии, попал в империалистическую в плен, а потом участвовал в гражданской на стороне красных, да так и остался в нашем поселке, женился на тихой женщине, она была такая тихая, что я и не запомнил ее. Он работал на заводе мастером, и все относились к нему с почтением.

Он вертел стакан перед моими глазами пухлой, белой, с коричневыми конопушками рукой и говорил задумчиво о Ленушке, он говорил с акцентом, столько лет прожил у нас в стране, а все говорил с этим ужасным акцентом, вставляя свои «бин», «унд», «мит» и другие словечки, и не всегда можно было разобрать, что же именно он хочет... Не так давно на Урале я встретил нескольких немцев, которые остались у нас после плена, обзавелись семьями, состарились, вырастили детей, и меня удивило, что не только они, но некоторые из их сыновей и дочерей, хотя матери были русскими, сохраняли пусть легкий, но акцент,— вот как это живуче... Немец Вальтер говорил спокойно, весомо, а мы все слушали о том, как жестока и сложна классовая борьба, как не сдается враг даже после того, если он опрокинут и раздавлен, все норовит ужалить своим отравленным ядом, и вот мы все стали свидетелями такого печального примера: была комсомолка Ленушка, боролась с летунами и лодырями, возглав-



ляла ударную бригаду раздирщиц, и оказалась бельмом на глазу врага, и он решил ее убрать со своей дороги... Немец Вальтер говорил убежденно, все ему кивали головами, все ему верили и, когда он предложил тост, чтобы враги были разгромлены, согласно выпили.

После этого за столом стало оживленней, и тетя Надя, вытирая от пота рыхлое лицо полотенцем, рассказывала, что бабы болтали, будто убийцу хоть и не нашли, но найдут его непременно, потому что приезжали из Москвы врачи и другие специалисты и сделали снимок «по глазу». Сначала никто не понял, что это за снимок такой, но тетя Надя объяснила: когда человека убивают, то в глазу остается изображение того, кого видел покойный в последний раз, а потом это изображение переснимают на настоящую карточку, и по ней не так уж и сложно поймать преступника, ведь не за горами же он — в нашем поселке или в городе. И опять все согласно кивали и верили: убийцу найдут, раз взялись искать, то обязательно найдут...

Вот здесь, за столом во время поминок, и произошел со мной срыв, будто опрокинулась стена, отделявшая меня от остального мира, и скопившийся в душе после убийства Ленушки ужас словно бы прорвался и хлынул наружу... В какое-то время я почувствовал, что по моей спине сползает нечто скользкое и колючее, и тут же заметил хитрые глаза Лидуни и понял: она сунула мне что-то за шиворот. Я выдернул рубаху и достал из-под нее полуобглоданный кусок селедки, некоторое время я смотрел на него, потом с силой запустил в Лидуню, но попал в глаз немцу Вальтеру и тогда кинулся, сжав кулаки, на эту настырную девчонку...

С этого момента я впал в забытье и, говорят, находился в нем долго, но я ничего из того не помню, мама мне рассказывала: я вцепился в Лидуню так, что меня не могли от нее оторвать, я царапал ей лицо, бил ногами в живот, и только Степан Тимофеевич, применив силу, оттащил меня...

«А то бы неизвестно, что и было бы,— говорила мать.— И откуда что взялось в хрупком теле...»

Я провалялся несколько дней в жару и бреду, мать сутками дежурила подле меня, и потом несколько дней был так слаб, что не мог вставать с постели. Когда я немножко пришел в себя, Лидуня с исцарапанным лицом боязливо подходила к моей постели и клала на табуретку тетрадки с задачками, чтобы я не отстал от школы. Надо сказать, что с этих дней она очень изменилась ко мне и, когда я поднялся и оправился окончательно, шла со мной в школу не на полшага впереди, а на полшага позади, дома всячески старалась угождать, и я слышал, как в школе говорила подружкам: «Его лучше не тронь, он бешеный...»

Когда болезнь моя кончилась и я пришел в себя, отец, видимо, по настоянию матери, спросил: что бы я хотел получить к первомайским праздникам, какой подарок?

«Ничего, батя, не надо... Вот, если бы ты меня на завод сводил...» Они переглянулись с матерью, и я увидел, как мать кивнула в знак согласия, и тогда отец сказал: «Ладно, пойдешь со мной завтра...»

Только не надо представлять дело так, будто я просился у отца на завод, как в некий храм, в фанатичном порыве поклонения перед тем огромным и главным, чем жил наш поселок. Просто в мальчишеской голове возникла странная фантазия: надо побывать в том месте, где работала Ленушка, может быть, там что-то осталось от нее... Что может остаться — я не знал, но верил: обязательно отыщутся ее следы.

И наступил день, когда мы прошли с отцом через проходную и очутились на широком, мощенном булыжниками дворе, а навстречу нам поднимались бурые, черные, белые дымы, и за высокими окнами закопченного здания гудело пронзительно красное пламя, и по мере того, как все далее углублялись мы в этот двор, свист и грохот тесней окружали нас, заглушая шаги и голоса.

«Так куда тебя вести?» — спросил отец.

И я, не задумываясь, ответил:

«В новый цех»...

Он понял, в чем дело, кивнул, и мы свернули направо и вскоре вышли к длинному кирпичному зданию, вошли в него через высокие ворота... Поначалу я отпрянул от летящих мимо раскаленных листов металла — они разбрасывали искры, и те падали на пол, шипя и пригасая; здесь было парно, как в бане, и жарко; мы обходили стороной, чтоб не получить ожога, небольшие — а по нынешним временам даже крохотные — прокатные станы, где каталось кровельное железо, и у одного из этих станов я увидел Степана Тимофеевича. Он строго восседал на высоком металлическом сиденье, держа руки на рычагах, и наблюдал, как из печи летели прямо на него раскаленные листы, но к себе он их не подпускал, поворачивал рычаг, и листы жестко обжимались двумя блестящими валками. Степан Тимофеевич заметил нас, но даже не кивнул, не обернулся в нашу сторону, он невозмутимо делал свою работу, а у стены, на скамеечке сидели двое рабочих и, лениво покуривая, переговаривались о чем-то своем, наконец один встал, пригасил окурок и пошел к Степану Тимофеевичу, и тогда тот уступил ему место...

«Пойдем, покажу»,— строго сказал Степан Тимофеевич и повел нас к площадке, где тянулось несколько длинных столов, обитых жестью, и возле них работали женщины, они работали попарно, стоя одна против другой... Я сначала не понимал смысла их труда, их движения мне казались похожими на танец с саблями — я видел в кино, как танцевали казаки; женщины взмахивали широкими, как тесаки, ножами, вонзали их в нетолстую пачку металлических листов, а потом, откинув эти ножи, одновременно склонялись к листам и, ухватив их брезентовыми рукавицами, растягивали в разные стороны, и листы отъединялись друг от друга, над ними струился горячий воздух, и, когда они расщеплялись, взлетала вверх бело-серая пыль. Мы подошли поближе, и я увидел, как напрягаются женщины, согнувшись вперед, краснея от натуги, и пот струится по их лбам, и вся схожесть с танцем исчезла...

«Листы-то спрессованные из-под стана выходят,— объяснял Степан Тимофеевич,— вот их и надо раздирать... Отсюда и «раздирщица». Между прочим, мужики такой работы не выдерживают. Одни женщины...— и, словно оправдываясь, сказал: — Так у нас получилось: цех новехонький, станы — одна красота, техника... А тут вот инженеры и не додумались...»

Я смотрел на тяжкую работу женщин, у которых лица по самые глаза были закутаны в платки, наверное, чтобы не дышать горячим воздухом и пылью, пытался представить на этой работе Ленушку и не мог... Сейчас на заводе нет бывшего «нового» цеха, его снесли как устаревший и поставили современный стан, катающий автолист; это широкий цех с высокими пролетами, и операторы работают в особых помещениях, возле красивых, мигающих лампочками пультов, наблюдая сквозь широкие стекла за движением стальной полосы, и в операторских помещениях поставлены кондиционеры. Так сейчас, но тогда... впрочем, ведь то была тоже новая техника, и цех-то называли «новым», а профессия раздирщицы на заводе просуществовала долго — всю войну — и

исчезла только где-то в шестидесятые годы... Но я слышал в детстве, как тот же Степан Тимофеевич, выпив рюмку, говорил тете Наде о женщинах, работавших у столов с тесаками в руке: «Бедные бабы, как же они рожать-то будут, им на живот-то по сколько тонн нагрузки падает». Правда, на это тетя Надя отвечала: «А тебе-то какое дело?.. Не тебе рожать-то». А Степан Тимофеевич хмурился: «Мне не мне, а поколение растить надо...» И вот тут уж у тети Нади ответа не находилось.

...Теперь я бродил по обновленному поселку, среди кубообразных домов и думал: все, что кажется нам сейчас таким современным, по прошествии времени, может быть, и не такого длительного, увидится безнадежно устаревшим, как угас, исчез тот быт, который окружал меня в детстве; и те люди, что жили в нашем деревянном домишке, умерли, каждый своей смертью, одни в войну, другие еще до нее... И тут я подумал: «А Лидуня?»... Поначалу мне решилось: ее-то и искать не стоит, бесполезное это занятие, мало ли, какие перемещения могут быть у человека за минувшую огромную эпоху... Ну, а нашлась она легко и просто. Ни в коей мере не надеясь на успех, я запросил справочное бюро — где могу отыскать Тарутину Лидию Степановну? — и мне тотчас выдали справку: живет в поселке, адрес такой-то, телефон... Я позвонил. Ответил молодой женский голос:

— Мама на работе.

— А где работает?

— На заводе,— недоуменно ответили мне и тут же пояснили: — В лаборатории механизации и автоматики...

И я направился туда. Искать пришлось недолго, поднялся по широкой лестнице серого здания, с огромными стеклянными пролетами, и на одной из дверей нашел табличку с нужной мне фамилией, постучался, не ответили, но я слышал за дверью раздраженные женские голоса, постучал еще раз, и тогда до меня донеслось недовольное:

— Да открыто же! Кто там еще, господи?!

Я вошел и увидел в узкой комнате трех женщин, стоящих возле чертежной доски, на которой закреплена была какая-то схема, все трое повернулись ко мне, хотя доска, как некий магнит, еще притягивала их. Двое были молоды, одна взобралась с коленями на стул, опираясь руками о спинку, и сверкала обтянутыми в кожаные блестящие штаны ягодицами, вторая щурила глаза от дыма сигареты, а между двух девушек стояла в синем халате, в распахе которого виднелась белая блузка, женщина лет пятидесяти. У нее были ровные, несколько высоко поднятые плечи, а лицо, хоть и покрыто редкими конопушками, но ухоженное, с дерзко вздернутыми вверх уголками губ, с крутой складкой меж тонких бровей, идущей стрелой по высокому лбу, волосы подкрашены в медно-рыжий цвет и уложены в пышную и в то же время строгую прическу,— все это я разглядел, потому что свет из окна хорошо освещал ее. Женщина не согнала с лица раздраженного выражения, и я сказал:

— Мне нужна Лидия Степановна.

— Ну, я,— ответила она, и тотчас я увидел, что Лидия Степановна по-прежнему ждала объяснений, и девушки ждали, не меняя своих поз, в глазах их не было любопытства, скорее всего они смотрели на меня как на помеху, от которой надо побыстрее избавиться.

— Простите, пожалуйста, если вы так заняты... Я зайду позднее, вы только назначьте время...

Тогда она поинтересовалась:

— По какому вопросу?

Ну, как я мог объяснить, зачем пришел, да, собственно, у меня никакого «вопроса» и не было — вот осталась в живых она одна из всех, кто когда-то населял домишко моего детства, и хотелось на нее взглянуть, ну вот и взглянул — ничего похожего из того, что запомнилось мне, не было сейчас в этой женщине. Я никогда бы ее не узнал, встретив случайно, как сейчас не узнавала она меня; даже если бы произошел такой невероятный случай и она все бы эти годы оставалась той девчонкой, то я сейчас тоже ее не узнал бы — память не может столько лет хранить в себе лица. И от неумения объяснить свой приход и еще от растерянности я ответил:

— По интимному...

Та, что была с сигаретой, прыснула, а другая, в кожаных штанах, не меняя своей вызывающей позы, теперь с любопытством посмотрела на меня.

Ответ, видимо, озадачил Лидию Степановну, и она, тоже растерянно, спросила:

— Это надолго?

Ответил не я, ответила та, что была с сигаретой:

— Может, на всю жизнь!

Девушки рассмеялись, и та, что была в кожаных штанах, спросила:

— Вы откуда?

— Из Москвы...

Тогда Лидия Степановна рассердилась на них:

— А ну выметайтесь отсюда! Потом договорим,— и, взглянув на ту, что взобралась коленями на стул, прикрикнула: — А ты как стоишь! Стыда в тебе нет... Быстро, быстро освобождайте помещение!

К моему удивлению, девушки безропотно, не возразив ни единым словом, направились к двери.

— Извините, ради бога,— чувствуя себя неловко, забеспокоился я.

Она села к письменному столу, решительно вынула оттуда пачку с сигаретами, достала из них одну и кинула пачку через весь стол в мою сторону.

— Изобретаем велосипед. Подождет,— кивнула она на чертеж.— Тут еще думать да думать.— Выпустив струйку дыма, она уставилась на меня.

Тогда я начал объяснять, что когда-то в детстве мы жили вместе в одном доме, и наши родители были дружны меж собой, а мы ходили в один класс. Когда я, наконец, закончил, она сбила пепел с сигареты и спросила строго:

— Ну, и что?

И я тут же подумал: а в самом деле — «ну, и что?». Но ответить на этот вопрос не мог...

Она помолчала еще немного, потом сильным движением пододвинула под собой кресло, может быть, для того, чтобы быть ко мне поближе, и живо спросила:

— Тебя как, на «вы»? Или на «ты» можно?

— Как удобней...

— Ну, так слушай... Если тебе что нужно тут на заводе... достать или на прием к начальству быстро, то ты говори прямо, не юли. Понимаю, бывает так — прижмет, и не только детство, грудной возраст вспомнишь... Так ты мне лучше сразу, открыто, без подходца... Договорились?

— Да не надо мне ничего,— взмолился я.— Просто узнал, что вы живы,— я так и не мог с ходу перейти на «ты».— И вот решил на вас взглянуть, а то ведь все остальные умерли. Вспомнил, как убита была Ленушка, ну, и все во мне всколыхнулось...

Она опять сбила пепел с сигареты и, недоверчиво прищурив глаза, спросила:

— Ты что — лирик?

— Может быть.

— Интер-р-ресно...— протянула она и задумалась, потом с неожиданной тоской произнесла: — Ленушка?.. Это Баулина, что ли?.. Ну, да я не забыла, в



березовой роще убили... И тебя вспоминаю. Вредный такой парнишка рос... Дрался. Еще, помню, то ли за палец меня укусил, то ли за ухо... Очень был вредный. Значит, ты?

Я усмехнулся про себя — каждый из нас помнит другого по-своему! — и кивнул ей в ответ.

— Значит, я.

Тут она вдруг улыбнулась, вздернутые кверху уголки ее губ распрямились и обнажили ровные, крепкие зубы, и на лице ее растопилась твердость, оно сразу сделалось приветливым.

— Это же надо, а-а? — протянула она.— Смешно.

Лидия Степановна закурила еще одну сигарету: видимо, что-то ее все-таки растревожило.

— А знаешь,— задумчиво сказала она,— Ленушка эта вовсе и не Баулина оказалась... Там какая-то серьезная история была... Что-то вот никак не могу припомнить. Только это открылось не так уж давно, лет десять, а то пятнадцать назад. Когда дом наш рушили, там то ли бумаги какие-то нашли в тайнике, то ли... Эх! Все из памяти вышибло... Как же это так... А я ведь сама удивлялась. Думала: история какая интересная.— И тут же она вдруг воскликнула: — Постой! Да это же Томка знает!..— и сразу же объяснила: — Подружка моя. Не помнишь? Ну, конечно. Она уж мне после войны подружкой стала. Вот она все помнит. В строительном управлении работает. Она наш домик и рушила... Сейчас-ка я ей...— Лидия Степановна торопливо набрала номер телефона, но в трубке послышались гудки занятости, она безнадежно бросила трубку на рычаг.— Разве ей сейчас дозвонишься! — Она снова на мгновение задумалась, потом вскинула голову: — Знаешь, приходи-ка вечерком ко мне домой. Я ее туда притащу... А что? И в самом деле, посидим, повспоминаем. Запиши адрес...

— У меня есть.

— Так значит, в семь. А я сейчас с этими инженерками разберусь,— кивнула она на чертеж.— Простую задачку решить не могут. За всем глаз да глаз... Понимаешь, эту самую лабораторию сделали вроде мусорной ямы. Понапихали людей из цехов — кому кого не надо, кабы избавиться. И такой кадровый состав образовался, будь здоров. Получается, эта лаборатория только для «птички» существует. А между прочим, столько сможет задачек решить. Ого! Да меня саму сюда вроде бы как на покой кинули. Хватит, мол, в цехе торчать, радикулит и другие болячки заработала, ну и иди на тихое место. А тут такое, я тебе должна сказать... Ворочать, не переворочать... Ну, ладно, так договорились, приходи в семь. Только не пижонь, коньяка не покупай. Постой, если тебе куда надо, я скажу, чтоб подвезли... Нет? Ну, ладно, до вечера!..

В тот день я долго бродил по поселку, удивился, увидев, что березовая роща цела, правда, к ней вплотную подступили дома, и в глубь ее уводили асфальтированные аллейки, но в общем-то она была такой же, как и в годы моего детства. Стоял облачный день, солнце то проглядывало в синие просветы, то исчезало, но в воздухе ощущалась зябкость — нынешнее лето утомило своими холодами и дождями, теперь оно было на исходе, но травы возле рощи еще стояли ярко-зеленые, сочные, да и листья на березах были такими, какими бывают только в начале лета, еще не опаленные лучами, не почерневшие от копоти и пыли, и от этих листьев, трав, чистеньких стволов и влажного запаха становилось бодрее на душе...

«Странно, что здесь могли убить женщину,— думал я.— Так все здесь уютно и свежо, а вот поди ж ты — свершилось убийство... И нет никакого следочка...»

И тут я вспомнил, что примерно об этом же размышлял однажды в подмосковном лесу, где с приятелем собирал грибы: был тихий день, густо пахнущий хвоей и мхами, и, когда вышли мы к лесному круглому озеру, на дне которого застыли пышными сугробами облака, приятель мой стал рассказывать, что в этом месте окружен был немцами отряд студентов-добровольцев, и только он сам и еще двое его друзей остались живы, так как были тяжко ранены и лежали на дне оврага, может, потому немцы не спустились туда, чтобы их добить; густо поросло это место травой и ягодой, зарубцевались военные шрамы, и мало кто знает, сколько молодых жизней завершили здесь свой путь, и ходят по травам люди, любуясь небывалой красотой леса... Недаром же говорят: «Все травой порастет...» И тогда я понял: эта тяжкая мысль давно уж не дает мне покоя, она-то и погнала меня в этот поселок...

Лидия Степановна жила неподалеку от центральной площади. Она открыла сама, и едва я переступил порог, как почувствовал вкусный запах жареных пирожков и мяса; протянул ей пакет с вином и водкой, она взяла его, пробурчав: «Вот это уж зря»,— и повела меня через узкий коридорчик в большую комнату, стеклянные двери которой были растворены настежь.

— Ну, вот, Тома, знакомься,— сказала Лидия Степановна, подводя меня к плюшевому дивану в золотистых розах, на котором сидела полная, простовато причесанная женщина, с насмешливым взглядом темных глаз под толстыми, видимо, очень сильными стеклами очков в массивной мужской оправе,— это и есть мой школьный дружок. Мы его Чижиком дразнили.

— Нет,— сказал я, пожимая руку Тамаре Савельевне — так назвалась эта женщина,— никогда меня Чижиком не дразнили.

— Ну, тогда другого, какая разница,— махнула рукой Лидия Степановна — а вот мамина радость — дочечка моя, Зинаида... Хорош ребеночек, а?

Это уж было обращено в сторону молодой женщины, которая входила к нам из соседней комнаты, она улыбнулась мне, будто мы и раньше были с ней знакомы.

— У тебя-то дети есть? — спросила меня Лидия Степановна.

— Конечно,— кивнул я.

— Это хорошо. Только я вот свою никак замуж выдать не могу. Говорит: «Мне одной лучше...»

— Многие так живут,— сказала Тамара Савельевна, она произносила слова плавно, растягивая их, и ее певучий голос звучал как бы в диссонанс резкому голосу Лидии Степановны.— Обычное явление, и никто не жалуется...

— С нами ужинать будешь? — спросила Лидия Степановна Зинаиду.

— Не-е-е,— протянула она.— Я на кухне пирожков похватаю и побегу...

— Долго-то не загуливайся.

— Ага! — кивнула она и опять улыбнулась мне.

Мы сели за стол, выпили за встречу, закусили, и, когда задымили сигаретами, Лидия Степановна сказала, обращаясь к Тамаре Савельевне:

— Ну, расскажи ты ему, что там с этой Баулиной было. Я все вспоминала, да ничего как следует и вспомнить не могла. Помню только, очень захватывающая история...

— А чего там было? — певуче протянула Тамара Савельевна, ее округлое лицо раскраснелось, стало открыто приветливым.— Когда стены ломали, в каморке тайничок нашли. Каморка небольшая, в ней не жил давно никто, вроде бы кладовку там сдела-



ли. Я потом справлялась вот у Лидиного отца, он еще на инвалидной коляске по поселку разъезжал. Он мне и сказал, что в той каморке Баулина последней жила... В тайничке ничего особенного не было, только маленькая, правда, дорогая иконка, драгоценными камнями усыпанная, и бумаги. Из этих бумаг и получалось, что она вовсе не Баулина, а Баташева... Вот! — теперь торжественно пропела Тамара Савельевна.

— Ясно дело? — спросила Лидия Степановна.

Но мне было неясно. Ну и что же, что не Баулина, а Баташева, другая фамилия, и все, и в этом еще ничего нет чрезвычайного.

— Эх ты,— укоризненно покачала головой Лидия Степановна,— а еще местный, поселковый... Баташев-то наш заводчик был, хозяин. Это вот моя Зинка может не знать, а ты должен.

— Да, да, я что-то помню,— кивнул я.

— Ну, вот и ладно,— согласилась Тамара Савельевна.— Мне теми делами времени не было заниматься, отдали мы все, что нашли, в исполком, а оттуда уж отправили куда-то... Я смутно помню... Ну, в общем, у Баташева была одна дочь, вот эта самая Елена. Когда революция случилась, ей года четыре исполнилось. Баташев стал за границу пробираться, и то ли в Крыму, то ли в Одессе застрял и погиб. А уж каким путем его дочка выжила: в детском ли доме росла или у каких людей — не знаю. Но факт тот, что сюда она приехала и на отцовский завод поступила работать.

— Ну, а убили-то ее за что? — волнуясь, спросил я.

— Вот это уж и не знает никто,—протянула Тамара Савельевна.—Давно было... Кто же будет теперь давнее убийство расследовать? Да и кто ее убил?

— Я его видел,— сказал я и стал им рассказывать о том парне, что дал мне записку для Ленушки.

— Ну, и что? — пропела Тамара Савельевна.— Может, и не он убил, мало ли какие совпадения бывают... Вот Лидин отец такую версию придумал: мол, эта Ленушка что-то знала про баташевские капиталы или ценности... Наверно, потому ее убили, чтоб она про них не проговорилась. Ведь если эта девчонка от своих отреклась и на самую тяжкую работу пошла, то от нее и другого ожидать можно было... Но опять же, это все домыслы, а как на самом деле, теперь никто и не узнает...

— Да и не нужно никому узнавать,— сказала Лидия Степановна.— Просто какое-то «дело Артамоновых», да и только...

«Вот как все повернулось»,— думал я... Убили молодую женщину много, очень много лет назад, и за ней обнаруживалась сложная, трагичная история, до нас долетело лишь слабое эхо ее. И в памяти моей снова возник тот, исчезнувший ныне цех, и женщины, работающие с тесаками в руках у столов, раздирающие спрессованные горячие листы, а потом мелькнуло гибкое тело Ленушки в синих рейтузах и фиолетово-чернильной футболке — на волейбольной площадке в спортивном городке — и взмах ее рук, когда стояла она на выгнутой доске вышки, с которой прыгали заводские спортсмены в воду... Она была обычной девушкой того времени, начала тридцатых годов, и ничем особенным нельзя было отличить ее от других работниц завода, и пела одни песни со всеми, ходила на демонстрации и была ударницей, но в то же время таила от людей нечто главное для себя, может быть, даже что-то сломала в себе, что-то победила в душе, чтобы казаться такой, как все...

— Почему никому не нужно? — спросил я.

— Сейчас выпьем, скажу.

От водки Лидия Степановна не краснела, напротив — кожа ее лица делалась бледнее, и резче на ней обозначались конопушки, глубже становилась продольная складка на высоком лбу.

— Так вот,— сказала она, сжимая губами сигарету.— У каждой бабы моих лет судьба покрепче, чем у той Баташевой... Ну и что, что дочка заводчика? Эка невидаль! Работала она и работала. Все тогда так... Наступило время, чтоб дармоедов не было, вот и пришлось. А я тебе скажу, нам досталось, так досталось. Мы в Челябу с заводом приехали, как война началась. Хочешь не хочешь, а завод разворачивай. Землю кострами отогревали, бетон укладывали и прямо на бетон, под открытым небом, станки набрасывали. Как электричество дали, так и заработали. В пургу детали точили, в мороз. По цеху поземка метет, а мы вкалывали. Строители стены начали возводить, а мы под звездами головки для снарядов точим. В рукавичках станочек не наладишь. Кожу как металлом прихватит... А куда денешься? Фронту снаряды нужны. Тебе бы порассказать, сколько там нашего брата у этих самых станков... Кто сосчитает?.. А ты вот на Томку взгляни. Это она сидит тут перед тобой такая тихая, уютная, вся из себя пышная. А пусть она рубаху снимет да тебе спину покажет... Не красней ты, Томка, свой мужик, вместе в школе учились. Так у нее граната над спиной разорвалась. Она снайпером была... Да ты сам, небось, все это знаешь. А потом? Что тут только на заводе не было, по восемнадцать часиков вкалывали, только б цехи план давали. Если все это помнить да в голове держать, то не голову надо иметь, а ЭВМ с хорошую домну объемом... Человеческих жизней много, миллионы, да каждая из них, как миг единый, а вот вместе они — эпоха. Ради этого самого и живем...

— Ради чего живем? — спросил я.

— А вот ради этого самого,— ответила Лидия Степановна.

Тамара Савельевна тем временем несколько раз пересекла комнату, уставленную новой матовой мебелью — немного под старину. Шаги ее скрадывались мягким, в желтых цветах ковром, она остановилась у приоткрытых дверей балкона и, взглянув на улицу, пропела:

— А вон Зинка целуется.

— Какая Зинка? — вскинулась Лидия Степановна.

— Да дочка твоя,— засмеялась Тамара Савельевна.

— С кем же целуется? — настороженно спросила Лидия Степановна.

— Да вроде бы с Димкой из соседнего подъезда... Константина Семеновича сынок, начальника литейного...

— Ну, с ним пусть,— спокойно сказала Лидия Степановна.— Может, в дом приведет.

— А если не приведет? — спросила Тамара Савельевна.

— Все равно пусть целуется. Женщина молодая, энергичная. А то еще как жизнь у нее сложится. Ты отойди от окна, не стой, не завидуй!

— Я свое отзавидовала,— рассмеялась Тамара Савельевна.

— Ну, не скажи,— хитро усмехнулась Лидия Степановна.— На тебя еще кое-кто и заглядывается. Ничего ведь она, как считаешь, однокашничек?

— Ничего,— улыбнулся я.

— Ну, вот,— согласно кивнула Лидия Степановна и тут же опять заговорила резко: — Чтобы с твоей лирикой покончить, я тебе по-честному скажу: нам оглядываться некогда. Мы всю жизнь, как заведенные, и если в бытье каждого влезать, то ни черта и разобрать в этой жизни не сумеешь... Вон

у меня, что ни день, то проблема. Сейчас с лабораторией расхлебываюсь, и получается: двадцать процентов работников вкалывают, а остальные за их счет живут. Я бы эти двадцать и оставила, зарплату бы им повысила за счет остальных. А я ни одной бездельной единицы уволить не могу. И все, понимаешь, из-за таких, как ты, лириков. Больно много всяких переживальщиков стало, ой как за казенный счет попричитать любят. А какие бы у нас с тобой переживания ни были, все равно их ветром разнесет, ничего от них не останется... Вон,— кивнула она в сторону окна,— завод останется, цехи останутся, все, что настроили, останется.

— Ну, уж ты, матушка! — с усмешкой протянула Тамара Савельевна.— Эка хватила... Да никакие твои цехи не останутся. Отработают свое, да и снесут их, другие поставят. На нашей-то памяти сколько их посносили, да машин новых навезли. Техника быстрее человека старится, а сейчас особенно...

— Так что же тогда останется? — вызывающе спросила Лидия Степановна.

— А дети останутся,— певуче сказала Тамара Савельевна,— внуки останутся, ну и души в них наши... если они есть, конечно, души-то...

— Э-э-э, да что с вами спорить,— махнула рукой Лидия Степановна,— давайте еще по маленькой...

Лидия Степановна повернулась теперь к Тамаре Савельевне и заговорила о делах своих в лаборатории:

— Ты бы посоветовала мне, сама вон как своих держишь.

И стала объяснять ей какие-то подробности своего дела, и Тамара Савельевна ей отвечала, некоторое время я следил за их разговором, потом перестал понимать его, они увлеклись и будто забыли обо мне. Я встал, подошел к балконной двери и увидел Зинаиду, стоящую под широкой, развесистой липой в обнимку с высоким парнем. Моросил мелкий дождь, он шуршал по листве, но, наверное, эти двое не замечали его, запах влажной свежести втекал в приоткрытую дверь.. И я вспомнил кухню в нашем деревянном домишке, вспомнил как собирались в ней в день получки мужчины, покупали поллитровку, устраивали совместный ужин и, немного выпив, пели: «Стаканчики граненые упали со стола, упали и разбилися...» — и больше всех старался рыжий немец Вальтер, у него был хороший голос, но он безбожно перевирал слова, а потом жаловался, что совсем не понимает этой песни, просил, чтобы пели: «Белая армия, черный барон...» Выпив еще, они начинали спорить и спорили о том же, о чем только что рассуждали Лидия Степановна и Тамара Савельевна: что останется после них?.. Степан Трофимович говорил — останутся цехи, заводы, домны, недаром же их строят, а отец мой и немец Вальтер все норовили объяснить что-то о душе... Извечен этот бесхитростный спор, и всегда, наверное, люди искали и будут искать в нем простые и ясные ответы... Целовалась Зинаида под липой с высоким парнем, и шел мелкий, неторопливый дождь.

Юрий Адрианов





Воспоминание о Балатоне

Ветер листья сентябрьские,
Как листы календарные, гонит,
Тишина голубая на голубом Балатоне.
В полдень осени даль
Вспыхнет кратким огнем, словно яхонт.
Поредели сады,
Паруса поубавили яхты.
И на пляжах промокших
Сегодня пронзительно пусто.
Обнажились густые леса,
Обнажаются чувства...
И брожу я с мадьяром,
Веселым посольским шофером:
«Может, в горы поедем!»
И правда, отправиться в горы!
— Тамаш, нет, не поедем:
Проводим остывшее лето,
Есть в венгерских ночах
Листопадов заволжских приметы.
Снова песни, воскреснув,
усталое сердце задели:
Не случайно поэт затворился сегодня
в отеле,
И забились слова в сердце,
как теплоходы в затоны...
Может, Сигулды осень пригрезилась
на Балатоне!
Снова строки встают
и стучат, словно пальцы в окошко.
Наш отель задремал домовитою, доброю
кошкой.
Осень — огненный стих,
Что врывается, память тревожа.
Осень — время надежд,
Если мысли становятся строже.
Лето —
шумный и бойкий
продавец торопливых эстампов.
Осень — это стихов непокой, где луна,
как настольная лампа!

✪

Лицо Светлова,
Голос Смелякова —
Укор суровый, шутка, смех подчас:
Учителя ко мне приходят снова
И в утреннюю рань
И в поздний час.
Рыленкова звучат слова густые
О жизни, жизни, жизни... о стихах.
Я вижу вас, далекие, седые,
Чьих строф высоких не коснулся прах.



Феликс
ВЕТРОВ

Дебютировал в № 1 «Юности» за 1974 год повестью «Сигма-Эф». Сейчас ему 29 лет.

СТЕНА

РАССКАЗ



ПРОЗА

Рисунок
Е. МАЦИЕВСКОГО.

На окраине Москвы, скрываясь летом в густой зелени старых лип и тополей, а зимой проглядывая за черными стволами и ветками, стоят несколько желтых трехэтажных зданий. За ними — как океанские лайнеры среди неказистой портовой мелочи — высятся новые белые корпуса. А вокруг забор. По вечерам над забором вспыхивают прожектора, и тогда уже ничего не различишь в их ровном, немигающем свете. Но и в желтой таинственности старинных зданий и в непроницаемости забора каждый видит одно — посторонним вход сюда закрыт...

...Утро. Часы-компостер. Талон пропуска в дырочках цифр. 08.17. Это я прохожу через хромированную вертушку и, миновав комнаты переговоров, будки телефонов, оказываюсь на территории института. В третьем корпусе, на одиннадцатом этаже — ОНТИ, отдел научно-технической информации.

Скоростной лифт возносит к небесам. По длинному коридору, окрашенному какой-то бесцветной мутной краской, под сонно жужжащими люминесцентными трубками иду в свой отдел мимо обитых дверей. Наша дверь уже распахнута, на пороге — Генка Творожников, его рыжая бороденка так и полыхает в луче солнца.

— Привет!

— Привет!

Раньше на нашей двери висела скромная и лаконичная, каллиграфически вырисованная табличка — «ГО». И все знали, что это значит — «графическое оформление», здесь обитают художники. Но замдиректора по общим вопросам Буркин, лысый приземистый старикан с быстрыми глазами, прозванный кем-то «Чернобуркиным», разорался: «Вы что — шутки шутить? У вас тут что — штаб гражданской обороны?! Как дети малые! «Гэ — О», понимаешь! Забываете, где работаете!..»

Ну и так далее, в том же духе.

Пообещали все исправить. На следующий день на двери красовалась новая табличка, еще более скромная: «Г».

Провисела она с неделю, вызывая всеобщее веселье, кривотолки и предположения. Но пришел Буркин и, сколько мы ни убеждали его, что так даже лучше, все опошлил. И остались мы вовсе без таблички, но не сломленные морально.

— Порядок,— говорит Генка.— Дядьки до обеда не будет. Звонил — в Комитете стандартов.

— Ясно. Ты один пока?

— Как видишь.

Значит, ее еще нет, и можно не заглядывать в комнату... А «Дядька» — это наш руководитель группы Сева Сеславин — интеллигентнейший, утонченнейший Сева — изящный, гибкий, с узкой спиной и прической под Алена Делона. Сева — классный промграфик, работает он весело и лихо, но время от времени из-за его стола доносится тихое постанывание. Это Дядька Сеславин снова «комплексует», сокрушаясь о своем засыхающем на корню таланте.

— Эхе-хе...— бормочет он тогда.— Эхе-хе... Сидишь на этой даче — не жизнь, а тоска тошная.

Но Дядька безбожно врет. Попробовал бы день прожить без этого одиннадцатого этажа, с которого видна вдали вся Москва, без своего широкого стола и без нас!.. В конце концов нашему Дядьке всего тридцать один, и Дядькой он стал с тех пор, как отпустил свои ротмистрские усы.

— Он велел тебе передать, чтоб не тянул с проспектом,— говорит своим мальчишеским голоском Геннадий и щурится.

— Успеется...





**Евгений
Евтушенко**

СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА

ПОЭМА

1

За что эта севериая иадбавка!
За —
вдавливаемые
вьюгой
внутрь
глаза,
за —
морозà такие,
что кожа на лицах,
как будто кирза,
за —
ломающиеся,
залубеневшие торбаза,
за —
проваливающиеся
в лед
лолоза,
за —
пустой рюкзак,
где лишь смерзшаяся сабза,
за —
сбрасыааемые с вертолета грузà,
где книг никаких,
за исключением двухсот пятидесяти экземпляров
научиой брошюры
«Ядовитое пресмыкающееся наших пустынь —
гюрза...»

2

«А вот лива,
товарищ начальник,
не сбросят, небось, ни разà...»
«Да если вам сбросить его —
разобьется...»
«Ну хоть лолизать,
когда разольется.
А правда, товарищ начальник,
в Америке — ливо в железиых баиках!»
«Это для тех,
у кого есть валюта в банках...»
«А будет у нас «Жигулевское»,
которое ие разбиаается!»
«Не все, товарищи, сразу...
Промышлениость развивается».
И тогда возникает
севериая тоска ло ливу,
ло русскому —
с кружечкой,
с воблочкой —
лиру.
И начииают:
«Когда и где
лоследиий раз
я его...
того...
Да, боже мой, братцы,—
в Караганде!
Лет десять назад всего...»
Телерь у ларня в руках
весь барак:
«А как!»
«Иду я с шабашки
и вижу —
цистерна,
такая бокастая,
рыжая стерва.
Я к ией — без порыва.
Ну, думаю, знаю я вас:
написано «Пиво»,
а вряд ли и квас...»

Барак замирает,
как цирк-шапито:
«А дальше-то что!»
«Я стап притворяться,
как будто бы мне все равно.
Беру себе кружечку, братцы,
и — гадом я буду — оно!!»
«Хоподное!» —
гпубокомыспенно
вопрос, как сухой наждачок.
«Хопеное...»
«А не прокиспое!»
«Ни боже мой —
свежачок!»

«А очередь!»
«Никакошенькой!»,
и вдруг пробасип борода,
рассказчика враз укокошивший:
«Какое же пиво тогда!

Без очереди трудящихся
какой же у пива вкус!
А вот постоишь три часика
и стопько мотаешь на ус...
Такое общество избранное,
хотя и табачный чад.
Такие мысли, не изданные
в газетах, где воблы торчат.
Свободный обмен информацией,
свободный обмен идей.
Ссорит нас водка, братцы,
пиво сбпижает пюдей...»

Но барак,
притворившийся топько, что спит:
«А спирт!»
И засыпает барак на обрыве,
своими снами
от вьюги храним,
и радужное,
как накпейка на пиве,
сиянье северное
над ним.
А когда открывается
навигация,
на первый,
ободранный о пьдины пароход,
на подках
угрожающе
надвигается,
размахивая сотенными,
обеспивевший народ,
и вздрагивает мир
от накопившегося пыпа:
«Пива!
Пива!»

3

Я уппывап
на одном из таких пароходов.
Едва успевший в каюту впезть,
сосед, чтоб главного не прохпопать,
хриппо выдохнуп:
«Пиво есть!»
«Есть»,— я ответип.
«А сколько ящиков!» —
последовап северный крупный вопрос,
и цепых три ящика
настоящего
живого лива
буфетчик внес.
Закуской были консервные мидии.
Под сонное бупьканье за кормой
с бупьканьем
пип из бутыпок невидимых
и ночью
сосед невидимый мой.
А утром,
способный уже для бесед,
такую исповедь
выдап сосед:

«Летать Аэрофлотом!
Мы лучше обождем.
Мы мерзли по мерзлотам
не за его боржом.

Я сяду лучше в поезд
«Владивосток — Москва»,
и я в брюшную полость
себе налью пивка.

Сопьцой, чтоб зашилело!
Найду себе дружков,
чтоб теплая капелла
запепа бы с боков.

С подобием улыбки
сквозь пенистый фужер
увижу я Подлипки,
как будто бы Танжер.

Аккредитивы в пояс
зашил я гпубоко,
но мой финкарь пропсрист —
отпарывать пегко.

Куплю в комиссионке
костюм — сппошной кремппин.
Заахают девчонки,
но зто пишь трамплин.

Я в первом туапете
носки себе сменю.
Двадцатое стопетье
раскрою, как меню.

Пять лет я торопипся
на зтот лир горой.
Попользую я «пильзен»,
попраздную «праздрой».

Потом, конечно, в Сочи
с комлашкой закачусь —
там погуляю сочно
от самых лолных чувств.

Слроворит, как по нотам,
футбопьнейший подкат
официант с блокнотом:
«Вам хванчкару, мускат!»

Но зря шустряк в шалмане
ждет от меня кивка.
«Компании — шампании!
А для меня — пивка!

Смеешься надо мною!
Мол, я не из людей,
животное пивное,
без никаких идей!

Скажи, а ты по ягелю
таскал теодолит,
не пивом, а повальною
усталостью налит!

Скажи, а ты счастливо,
без всяких лососин
пил бархатное пиво
из тундровых трясин!

А о пивную пену
крутящейся пурги
ты бился, как о стену,
когда вокруг ни зги!

Мы теплыми телами
боролись, кореш, с той,
как ледяное пламя
дышавшей, мерзлотой.

А тех, кто приустали,
внутрь приняла земля,
и там, в гробу хрустальном,
тела из хрусталя.

Я, кореш, малость выжат,
прости мою вину.
Но ты скажи: кто движет
на Север всю страну!

На этот отпусочек —
кусочек жития,
на пиво и на Сочи
имею право я!

Я северной надбавкой
не то чтоб слишком горд.
Я мамку, деда с бабкой
зарыл в голодный год.

Срединная Россия
послевоенных лет
глядит — теперь я в силе,
за пивом шлю в буфет!

Сеструха есть — Валюха.
Живет она в Клину,
и к ней еще до юга,
конечно, заверну...

Пей... Разве в пиве горечь,
что ерзаешь лицом!
По пиву вдарим, кореш,
пивцо зальем пивцом...»

4

Эх, надбавка северная,
вправду сумасшедшая,
на снегу посеянная,
на снегу взошедшая!

Впрочем, здесь все рублики,
как шагрень, сжимаются.
От мороза хрупкие
сотни здесь ломаются.

И, до боли яркие,
в самолетах ерзая,
прилетают яблоки,
все насквозь промерзлые.

Тело еще вынесло,
ночью изъелозилось,
а душа не вымерзла —
только подморозилась.

5

В столице были слипшиеся дни...
Он легче стал
на три аккредитива
и тяжелей
бутылок на сто пива,
и захотелось чаю и родни.
Особенно он как-то испугался,
когда, проснувшись,
вдруг нащупал галстук
на шее у себя, а на ноге
почувствовал чужую чью-то ногу,
а чью — понять не мог,
придя к итогу:
«Эге,
пора в дорогу...»

Сестру свою не видел он пять лет.
Пропахший запланированным «пильзеном»,
как блудный брат,
в кремплине грешном вылез он
в Клину чуть свет
с коробкою конфет.
В России было воскресенье,
но
очередей оно не отменяло,
а в двориках тишайших
домино
гремело наподобье аммонала.
Не знали покупатели трески
и козлозабиватели ретивые,
что в поясе приезжего с Москвы
на десять тыщ лежат аккредитивы.
Московскою «гаваною» дымя,
он шел,
сбивая новенькие «корочки».
Окончились красивые дома
и даже некрасивые окончились.
Он постучал в окраинный барак,
который столь похожим был на северный.
«Чего стучишь!
Открыта дверь и так...» —

угрюмо пробурчап старик рассерженный.
Вошеп приезжий в дпинный коридор,
смущаясь:
«Мне бы Щепочкину Вапю...»
«Такой здесь нет...
Все ходют,
носют сор,
и, кстати, нас вчерась обворовапи...»
«Как нет!
Я брат ей...
Я писап сюда.
Ну, правда, года три поспедним разом.
Дед, вспомни —
медицинская сестра.
С рыжцой!
Косит немного певым гпазом!»
«Ах, зта Ванька —
Юркина жена!
Я хоть старик,
а человек здесь новый
и путаюсь в фамипиях.
Она
не Щепочкина вовсе,
а Чернова».
«А где они живут!»
«Вон там живут.
Бып Юрка на бупьдозере,
а нынче
Вапюха его тянет в институт,
и мужа
и двоих детишек нянча.
Вапюха,
допожу тебе,
душа...
А как насчет укопов хороша!
И даже ездит
к самому завскпадом,
и всаживает шприц пегко-пегко...
Как видишь, оценипи высоко
своим —
научно выражаясь —
задом».
Рванул приезжий дверь сестры спегка,
и ручка вмиг с шурупами остапась
в его руке,
и вздрогнупа рука,
как будто бы нечаянно состарясь.
Он в мокрое внезапно ткнулся пбом
и о прищепку щеку оцарапап.
Пепенки в бпеске бепо-гопубом
роняпи, как минуты, каппи на поп.
И он увидеп,
сжавшийся в угпу,
раздвинув тихо занавес пепенок:
один ребенок ерзап на попу,
и грудь сестры сосап другой ребенок.
А над зпектроппиткой,
юн и тощ,
поповником помешивая борщ,
сестренкин муж читап,
как будто требник,
по дизепьной механике учебник.
С гпазами наподобие маспин
в жабо воздушном
у зпектроппитки
здесь, правда, третий пишний бып —
Муспим,
но зто не считапось —
на открытке.
Приезжий от пеленок сдепап шаг,
и сдавпенно он выговорип:
«Вапя...» —
как будто призрак тех бопот и шахт,
где есть концерты шумные едва ли.
Сестра с подмокшей ношею своей
привстапа,
грудь прикрыпа на мгновенье.
Всё женщины роняют от волненья,
но не роняют никогда детей.
«Я думала, что ты уже...»
«Погиб!
Как бы не так!
Держи, сестра, конфеты!»
«А что ж ты не писап!»
«Я странный тип...
К тому ж у нас нехватка на конверты...»
«Мой муж...»
«Усек...»
«Ппемянники твои...»
«И зто я усек...
Я, значит, дядя!
А где твой шприц!
Шампанского вкопи!
Да, завязав гпаза, вкопи,
не гпядя!»
«Шампанского, Петюша!
Я сейчас...»
Сестра засуетипась виновато,
в момент из-под певца-пауреата
достав десятку —
тайный свой запас.
«Петр Щепочкин,
ты, братец, сукин сын!» —
в сердцах подумап о себе приезжий.

Муж приодепся
и в сорочке свежей
направипся в соседний магазин.
Петр Щепочкин за ним тогда вдогон,
ему у кассы сотенную сунуп,
но даже не рукой,
а просто сумкой
небрежно отстранип дензнаки он.
Петр Щепочкин его зауважап —
нет,
зтот парень явно не нахпебник,
не зря, как видно, дизельный учебник,
страницы в борщ макая,
он держап.
А в комнатку тащип, что мог, барак —
гость северный,
особенный,
еще бы!

Бып хододец,
и даже бып форшмак!
Бып даже красный одинокий рак —
с изысканною щедростью трущобы!
Не может жить Россия без пиров,
а еспи пир,
то это пир всемирный!
Приперся дед,
боявшийся воров,
с попупустой бутылочкой имбирной.
Принес монтер,
как битпы, допгогрив,
с вишневкой, простоявшей зиму, четверть,
и, марпю осторожно приоткрыв,
стап вишенки
из чашки
пожкой черпать.
Зубровку —
неизвестное пицо
внеспо,
уже в подпитии отчасти,

прибавив к ней вареное яйцо,
и притащила няня —
тетя Настя —
больничных нянь любимое винцо —
кагор,
напоминающий причастье.
Был самогон,
взлелеянный в селе,
с чуть лиловатым
свекольным отливом...
Лишь пива не случилось на столе.
В Клину в то время
плохо было с пивом.
И даже не мешало ребятье,
и так сияла Щепочкина Валя,
как будто в эту комнатку ее
все населенье Родины созвали.
Но отгонявший тосты, словно мух,
напоминая, что она — Чернова,
шампанское прихлебывая, муж
украдкою листал учебник снова.
Глаз Валин, словно в детстве, чуть косил,
но больше на него,
им озабочен.
«Ты счастлива!» —
Петр Щепочкин спросил.
«Ой, Петенька, — вздохнула,—
очень...
Чего,
а счастья нам не брать взаймы.
Да только комнатушка тесновата.
Три года,
как на очереди мы.
А в кооператив —
не та зарплата...»
Петр Щепочкин как шваркнулся об лед:
«Ты сколько получаешь!»
«Сто пятнадцать.
Там Юрина стипендия пойдет,
и малость легче будет нам подняться...»
Петр Щепочкин
плеснул себе кагор,
запил вишневкой,
а потом зубровкой,
и старику сказал он с расстановкой:
«Воров боишься!
Я, старик, не вор...»

Он думал —
что такое героизм!
Чего геройство показное стоит,
когда оно вздымает гири ввысь,
наполненные только пустотою!
А настоящий героизм —
он есть.
Ему неважно —
признан ли,
не признан.
Но всем в глаза
он не желает лезть,
себя не называя
героизмом.
Мы бьемся с тундрой.
Нрав ее крутой.
Но женщины ведут не меньше битву
с бесчеловечной вечной мерзлотой
не склонного к оттаиванью быта.
Не меньше, чем солдат поднять в бою,
когда своим геройством убеждают,
геройство есть —
поднять свою семью,
и в этом гибнут
или побеждают...
Все гости постепенно разошлись.
Заснула Валя.
Было мирно в мире.
Сопели дети.
Продолжалась жизнь.
Петр Щепочкин и муж тарелки мыли.
Певец вздыхал с открытки,
но слабо
солисту было,
выпрыгнув оттуда,
пожертвовать воздушное жабо
на протиранье вилок и посуды...
Хотя чуть-чуть кружилась голова,
что делать, стало Щепочкину ясно,
но если не подысканы слова,
мысль превращать в слова всегда опасно.
И, расставляя стулья на места,
нащупывая правильное слово,
Петр Щепочкин боялся неспроста
загадочного Юрия Чернова.

Петр начал так:
«Когда-то, огольцом,
одну старушку я дразнил ягою,
кривую,
с рябоватеньким лицом,
с какой-то скособоченной ногою.
Тогда сестренке было года три,
но мне она тайком, на сеновале
шепнула,
что старушка та внутри
красавица.
Ее заколдовали.
Мне с той поры мерещилось, нет-нет,
мерцание в той сгорбленной старушке,
как будто голубой, нездешний свет
внутри болотной, кривенькой гнилушки.
Когда осиротели мы детьми,
то, притащив заветную заначку,
старушка протянула мне:
«Возьми...» —
бечевкой перетянутую пачку.
Как видно, пачку прятала в стреху —
пометом птичьим, паклей пахли деньги.
«Копила для надгробья старику,
но камень подождет.
Берите, дети».
Старухин глаз единственный с тоской
слезой закрыло —
медленной,
большою,
но твердо бабка стукнула клюкой,
нам приказав:
«Берите — не чужое...»
Сестра шепнула на ухо:
«Бери...»
И с детства,
словно тайный свет в подспудьи,
мне чудятся
красивые внутри
и лишь нерасколдованные люди...»
Петр Щепочкин стряхнул с тарелки шпрот:
«Сестренка с детства
в людях разумеет...»
Чернов,
лапшинку направляя в рот,
с достоинством кивнул:
«Она умеет...»
Был заметен весь праздничный погром,
а Щепочкин чесал затылок снова,

лока исчезла с мусорным ведром
фигура моиолитиая Черяова.

Ои гостю раскладушку распластал.
Почистил зубы,
щетку вымыл строго
и преспокойио иа голову встал.
Гость вздрогиул,
впрочем, после понял —
«йога».

И Щелочкии решил:
«Ну — так не так!
Быть может, легче,
чтоб ие быть врагами,
душевиый устаиавливать контакт,
когда все люди встаиут вверх иогами...»

И иачал он,
решительно уже,
чуть вилкой ие задев,
как будто в схватке,
иачавшиеся чуть настороже
чериовские мозолистые пятки:

«Я для тебя, иадеюсь, ие яга,
хотя меня ты все же дразиишь малость,
но для меня Валюха дорога —
из Щепочкииых двое нас осталось.
И пусть продлится щелочкииский род,
хотя и прозывается черновским,
пусть ои во виуках ваших ие умрет,
ну хоть в глазеиках —
проблеском чертовским.

Ты пареиь дельиый.
Правда, с холодком.

Но иичего.
Я даже приморожеи,
а что-то хлобыстнуло килятком,
и я оттаял.
Ты оттаешь тоже.

С Валюхой все делили вместе мы,
но разговор мой с иею отпадает.

Так вот:
я дать хочу тебе взаймы.

Тебе.
Не ей.
Взаймы.
А не в подарок.

На кооператив.
На десять лет.
И — десять тыщ.
Прими.
Не будь ханжою.

Той бабке заколдованиой вослед
я говорю:
«Берите — не чужое...»

Но, целеустремлеиио холодна,
чуть дергаясь,
как будто от иападок,
чериовская возиикла голова
на уровие его пропавших пяток.
«Легко заметить иашу бедиость вам,
ио вы помимо этого заметьте:
всего иа свете я добился сам,
и только сам всего добьюсь иа свете.
Отец мой пил.
В долгу был, как в шелку.
Во мие с тех самых детских униженяий
есть иеприязнь к чужому кошельку
и страх любых долгов и одолжеиий.

Когда перед собой я ставлю цель,
не жажду я участья иикакого.
Кому-то быть обязаииым —
как цель,
которой ты к чужой руке прикован».
«Как цель!
Ну что ж, тогда я в каидалах! —
Петр Щелочкии воскликиул шепоточком.—
Я каторжиик!
Я весь кругом в долгах!
Вовек ие расквитаться мие,
и точка!

Прикован я к России —
есть должок.
Я к старикам прикован,
к малым детям.
Я весь ие человек —
сплошиой ожог
от собствеииых целей
и счастлив этим!»

«Вы человек такой,
а я другой...—
Чернов старался быть как можио мягче.—
Вы щедростью шумите,
как трубой
турист-каиадец иа хоккейиом матче.
Бывает, Валя еле держит шприц,
зажата стиркой,
магазииной давкой,
и вдруг вы заявляетесь,
как приищ,
швыряясь вашей севериой иадбавкой.
Но эта щедрость, Щелочкии, мелка.
Мы ие бедиы.
У вас плохое зреиье.
Жалеть людей
наездом,
свысока,
отделавшись подачкой,—
оскорблеиье...»

И осеиило Щелочкииа вдруг:
ои,
призывая фильм-спектакль иа помощь,
«Я — труп! — вскричал.—
Еще живой, ио труп! —
И рыдаиул: —
Зачем ты с трупом споришь!
Возьми ты десять тыщ,
потом отдашь.
Какой я щедрый!
Я валяю ваньку.
Тебе открою тайну —
я алкаш.
Моим деиьгам, Чернов, ищу я ияиьку.
Пусть эти деиьги смирио полежат,—
ие то сопьюсь».
Ои пальцы растопырил.
«Ты видишь!»
«Что!»
«Как что!»
«Оии дрожат.
Особеииая дрожь.
Тоска по спирту».
«Но Валя спирт могла достать,
а вам
шампаиского красиво захотелось».
«Чернов,
недопустима мягкотелость
к таким, как я,
отрезаииым ломтям!

С копыт я был бы сразу спиртом сбит,
и стало б меньше членом профсоюза.
На Севере,
смешав с шампанским спирт,
мы называем наш коктейль:
«Шампузо».
Но это лишь на скромный опохмел.
Я спирт предпочитаю без разводки.
Чернов, я ренегат,
предатель водки
и в тридцать пять морально одряхлел.
Бывает ностальгия и во рту.
Порой,
как зверь ощерившись клыкасто,
пью,
разболтав с водой,
зубную пасту,
поскольку она тоже на спирту.
Когда тоска по спирту жжет,
да так,
что купорос могу себе позволить,
лосьоны пью,
пью маникюрный лак.
Способен и на жидкость для мозолей.
Недавно,
в белокаменной греша,
я у одной любительницы Рильке
опустошил флакон «Мадам Роша»,
и ничего —
вполне прошло под кильки...»

Оторопев от ужасов таких,
изображенных Щепочкиным живо,
Чернов спросил,
бестактно поступив:
«Но почему не перейти на пиво!»
Петр Щепочкин Шаляпиным в «Блохе»
захохотал,
аж затрясло открытку,
и выразилось в яростном плевке
презрение к подобному напитку.
«У нас его на Севере завал!
Облились пивом!
Спирт, ей-богу, слаще.
Я знал бы раньше —
сорганизовал
тебе пивка спецбаночного ящик...»
«Как — баночного!»
«Думаешь, вранье!»
«Почти.
Из фантастических романов».
«А я, товарищ,
верю в громадье,
как говорят поэты,
наших планов.
Все будет.
Все, быть может, даже есть,—
лишь выяснится это чуть попозже,
но в том прекрасном будущем —
похоже —
не выпить мне уже
и не поесть.
Чернов, Чернов,
меня не понял ты.
До Сочи я еще в Москву заеду.
Мне там вошьют особую «торпеду»,
чтоб я не пил.
А выпью — мне кранты.
Но при бутылках,
а не при свечах
я лягу в гроб,
достойнейший из трупов.
И как не выпить,
если там, в Сочах,
на стольких бедрах
столько хулахупов!
Инстинкты пожирают нас живьем.
Они смертельны,
но неукротимы.
Прощай, товарищ!
В поясе моем
зашита смерть моя —
аккредитивы...»

Чернов его у двери —
за рукав:
«Постойте,
ну, куда вы на ночь глядя!»
И зарыдал,
детей предсмертно гладя,
Петр Щепочкин,
трагически лукав:
«Прощайте, дети...
Погибает дядя...»
Стальные волчьи зубы не разжав
на горле у Чернова —
он молился:
«Рожай, дружок, решеньице,
рожай...
Ну, ну, родимый,
раз — и отелился!..»

Чернов отер со лба холодный пот.
Задергался кадык,
худущ,
синеющ:
«Да,
вы в нелегком положеньи,
Петр...».
И Щепочкин услужливо:
«Савельич...»
«Я знаю ваше отчество и сам.
Так вот что, Петр Савельич,
в этом деле
теперь все ясно.
Принимаю деньги.
С условием —
я вам расписку дам».
«А как же!
Без расписочки нельзя!
А где свидетель!» —
с радостным оскальцем
Петр Щепочкин куражился,
грозя
кривым от обмороженностей пальцем.
«Бюрократизм проник и в алкашей»,—
Чернов подумал сдержанно и грустно,
но документ составил он искусно
под чмоканье невинных малышей.
В охапке гостем дед был принесен,
болтающий тесемками кальсон,
за жизнь цепляясь,
дверь срывая с петель
при слове угрожающем:
«Свидетель».
Вокруг себя распространяя тишь,
легли без обаянья чистогана
в аккредитивах скромных десять тыщ
на мокрый круг от чайного стакана.
Там были цифры прописью ясны,
и гриф «на предъявителя» был ясен.

Петр Щелочкин застегивал штаны
и размышлял:
«Чернов еще опасен.
Возьмет он деньги —
и на срочный вклад.
А через десять лет вернет проценты.
До отвращенья честен этот гад.
В Америку таких бы,
в президенты.
Вернусь на Север —
вскоре отобью
про собственную гибель телеграммку.
Валюха мой портрет оправит в рамку —
я со стены Муслиму подмою...
Приеду к ним лет эдак через пять —
все время спишет...
Даже странно как-то.
Но мы — живые люди,
то есть факты.
Нас грех списать.
Нас надо описать.
Жаль, не пишу.
Есть парочка идей,
несложных,
без особых назиданий.
Вот первая —
нет маленьких страданий.
Еще одна —
нет маленьких людей.
Быть может,
несмышленый мой племяш,
ты превратишься в нового Толстого,
и в будущем ты Щелочкину дашь
им в прошлом неполученное слово.
И пусть продлится щелочкинский род,
в России, слава богу, нам не тесной,
и пусть Россия движется вперед
к России внуков —
новой,
неизвестной...
«Во мне, как в пиве, пены до хрена.
Улучшусь.
Сам себя возьму я в руки.
Какие мы —
такая и страна.
Мы будем лучше —
лучше будут внуки».
Кончалась ночь.
В ней люди,
и мосты,
и дымкою подернутые дали,
казалось,
ждали чьей-то доброты,
казалось,
расколдованности ждали.
Цистерна,
оказав бараку честь,
прогрохотала мимо торопливо,
но не старался Щелочкин прочесть,
что на боку ее — «Квас» или «Пиво».
Он вспомнил ночь,
когда пурга мела,
когда и вправду, в состояньи трупа
тащил в рулоне карту,
где была
пунктиром —
кимберлитовая трубка.
Хлестал снежище с четырех сторон.
«Вдруг не дойду!» —
саднила мысль занозой.
Но Щелочкин раскрыл тогда рулон,
грудь картой обмотав,
чтоб не замерзнуть.
Ко сну тянуло,
будто бы ко дну,
но дотащил он все-таки до базы
к своей груди прижатую страну,
и с нею вместе —
все ее алмазы...
Так Щелочкин,
стоявший у окна,
глядел,
как небо тихо очищалось.
Невидимой вокруг была страна,
но все-таки была,
но ощущалась.

6

Большая ты, Россия,
и вширь и в глубину.
Как руки ни раскину,
тебя не обниму.
Ты вместе с листопетом,
как рану, а не роль
твоим большим поэтам
дала большую боль.
Большие здесь морозы —
от них не жди тепла.
Большие были слезы,
большая кровь была.
Большие перемены
не обошлись без бед.
Большими были цены
твоих больших побед.
Ты вышептала ртами
больших очередей:
нет маленьких страданий,
нет маленьких людей.
Россия, ты большая
и будь всегда большой,
себе не разрешая
мельчать ни в чем душой.
Ты мертвых, нас, разбудишь,
нам силу дашь взаймы,
и ты большая будешь,
пока большие мы...

7

Аэропорт «Домодедово» —
стеклянная ерш-изба,
где коктейль из «Гуд бай!»
и «Покедова!»
Здесь можно увидеть индуса,
летящего в лапы
к Якутии лютой,
уже опустившего уши
ондатровой шапки валютной.
А рядом — якут
с невеселыми мыслями о перегрузе
верхом восседает
на каторжнике-арбузе.
«Je vous en prie...» [1] —
«Чего ты,
не видишь коляски с ребенком,—
не при!»

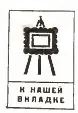
[1] Я вас прошу (ф р.).

«Me gusta mucho
andar a Siberia...» [1]
«Зин, айда к телевизору...
Может, про Штирлица новая серия...»
«Danke schön! Aufwiedersehen!..» [2]
«Ванька, наш рейс объявляют —
не стой ротозеем!»
Корреспондент реакционный
строчит в блокнот:
«Здесь шум и гам аукционный.
Никто не знает про отлет.
Что ищет русский человек
в болотах Тынд и Нарьян-Маров!
От взглядов красных комиссаров
он совершает свой побег...»
Корреспондент попрогрессивней
строчит,
вздыхая иногда:
«Что потрясло меня в России —
ее движенье...
Но куда!
Когда пишу я строки эти,
передо мной стоит в буфете
и что-то льет —
сибирский бог,
но в нашем,
западном кримплине.
Альтернативы нет отныне —
с Россией
нужен диалог!»
А кто там в буфете кефирчик пьет,
в кримплине импортном,
в пляжной кепочке!
Петр!
Щепочкин!
Пьющий кефир!
Это что —
его новый чефирь!
«Ну как там,
в Сочи!»
«Да так,
не очень...»
«А было пиво!»
«Да никакого.
Новороссийская квасокопа».
«А где же загар!»
«Летит багажом».
«Вдарим по пиву!»
«Я лучше боржом».
«Вшипи «торпеду»!
Сдался врачу!!»
«Нет, без торпед...
Привыкать не хочу».
И когда самолет,
за собой оставляя свист,
взмыл в небеса,
то внизу,
над землей отуманенной,
еще долго кружился списочный лист,
Щепочкиным
не отоваренный:
«Зам. нач. треста Сковородин —
в любом количестве валокордин.
Завскладом Курочкина,
вдова,—
чулки из магазина «Богатырь».
Без шва.
Братья — геодезисты Петровы —
патроны.
Подрывник Жорка —
нить для сетей
из парашютного шелка.
Далее —
мелко —
фамилий полста:
детских колготок на разные возраста.
Завхоз экспедиции Зотов —
новых анекдотов.
Зотиха —
два —
для нее и подруги —
японских зонтика.
Для Анны Филипповны —
акушерки —

двухтомник Евтушенки.
Дине —
дыню.
Для Наумовичей —
обои.
Моющиеся.
Воспитательнице детсада —
зеленку.
Это — общественное.
Личное — дубленку.
Парикмахерше Семечкиной —
парик.
Желательно корейский.
С темечком.
Для жены завгара —
крем от загара.
Для милиционера
по прозвищу «Пиф-паф» —
пластинку Эдит
(неразборчиво)
Пьехи или Пиафф.
Для рыбинспектора
по прозвищу «едрена феня» —
блесну «Юбилейная»
на тайменя.
Для Кеши-монтера —
свечи для лодочного мотора.
Для клуба —
лазурной масляной краски,
для общежития —
копченой колбаски,
кому —
неизвестно —
колесико для детской коляски,
меховые сапожки типа «Аляски»,
Ганс Христиан Андерсен «Сказки».
Летал и летал
воззывающий список,
как будто хотел
взлететь на Луну,
и таял где-то,
в неведомых высях:
«Бурильщику Васе Бородину —
баночку пива.
Хотя бы одну».

1976—1977.

[1] Мне очень приятно отправиться в Сибирь (и с п.).
[2] Спасибо! До свиданья! (н е м.)



Вл. ВОРОНОВ

СВЕРКАЮЩИЙ РУБЕНС

К 400-летию со дня рождения

Однажды известный английский алхимик Брендель предложил Рубенсу стать его компаньоном по эксплуатации намечавшегося открытия философского камня, который должен был превращать любой металл в золото. До нас дошел лаконичный ответ фламандского художника: «Господин Брендель, вы пришли ко мне с опозданием на 20 лет, так как уже в то время я обрел подлинный Lapidem Philosophicum в кисти и красках».

Рубенс не преувеличивал: он в самом деле умел превращать простые минеральные краски в золотую живопись, доныне сияющую на его полотнах. Он был известен в Европе как серьезный знаток античных древностей, один из богатейших коллекционеров греческих и римских статуй, камей и гемм, лучших произведений итальянского Возрождения. Он мог на равных беседовать с выдающимися учеными своего времени, подробно рассуждая о культовом и бытовом назначении египетских треножников или о качестве новонайденных мраморов с острова Делос...

При чтении его писем часто возникает ощущение, что написаны они тремя разными людьми: придворным сановником и дипломатом, подолгу общавшимся с сильными мира сего... Или блестяще образованным гуманистом (так называли в Италии специалистов по ренессансной и античной культуре), свободно обсуждающим достоинства латинских первоисточников, переходя с итальянского на французский или английский языки, с немецкого на испанский, фламандский или латынь... Или темпераментным, преуспевающим художником, знающим с точностью до флорина цену своим произведениям и картинам своих учеников, а среди них были знаменитые Ван Дейк, Иорданс и Снайдерс.

И все же столь разные письма принадлежат одному человеку; три таких несхожих лика он вместил в своей личности, сумев остаться самим собой, гигантом европейской живописи XVII века, беспокойного времени, сотрясаемого непрерывными войнами, династическими и религиозными. Рубенс целиком принадлежит своему веку, у которого еще свежи воспоминания о высоком и гармоничном искусстве Леонардо и Рафаэля, Тициана и Веронезе. Но уже Микеланджело нарушил прежнюю гармонию, утверждая в XVI веке героического человека, рвущего путы ограниченного существования.

Итальянские веяния к началу XVII века докатились до самого севера Европы, вызвав, впрочем, весьма разное отношение: буржуазная Голландия, добившаяся независимости от Испании, осталась равнодушной к так называемым «романистам». Рембрандт слышать не хотел об итальянских мастерах, сам не поехал и учеников не пускал за Альпы.

Иначе отнеслись к итальянским традициям во Фландрии, оставшейся под властью испанской короны; князья католической церкви в пышных, буйных формах европейского барокко, в грандиозных религиозных и мифологических картинах увидели возможность эмоционально увлечь свою северную паству. Получив от гильдии Святого Луки звание художника, двадцатитрехлетний Рубенс для совершенствования своего мастерства 9 мая 1600 года отправился в Италию. Там он попал прежде всего в Венецию, это было случайно, но изучение мастеров венецианской школы — Тициана, Веронезе, Тинторетто — определило дальнейшие живописные искания молодого фламандца.

С ревностью старательного ученика он пишет копии с лучших картин, зарисовывает скульптуры и архитектурные ансамбли, жадно впитывая в себя пышное праздничное искусство города Святого Марка. Там он познакомился с одним офицером из свиты мантуанского герцога Гонзаго I; офицер, зная фламандские увлечения своего патрона, зазвал Рубенса в Мантую и представил его герцогу.

Сейчас трудно сказать, какую роль сыграл тридцативосьмилетний Винченцо Гонзаго в творческой судьбе фламандца, ставшего придворным художником в Мантуе. Как ни странно, Гонзаго собирал произведения мастеров Фландрии и, наверно, поэтому оставил Рубенса «при себе». История числит за ним несколько явных заслуг: он, например, освободил поэта Торквато Тассо из сумасшедшего дома, куда его упек герцог Феррары; капельмейстером в Мантуе служил великий Монтеверди, основатель итальянской оперы. Гонзаго переписывался с Галилеем, обсуждая его научные идеи. Интересный герцог, хотя и вздорный по своему характеру, он упорно считал Рубенса копиистом и, отправляясь в очередной поход, посылал фламандца в Рим для снятия копий с известных картин... Впрочем, Рубенсу только это и нужно. Получив рекомендательное письмо к кардиналу Монтальто, одному из министров папы Климента VII, он едет в Рим. Правда, вскоре герцог призывает художника к себе и поручает ему посольскую миссию: отвезти подарки испанскому королю (1603). Гонзаго почувст-



Портрет камеристки инфанты Изабеллы. Около 1625 г.
Государственный Эрмитаж. Ленинград.

Из произведений Петера Пауля РУБЕНСА. 1577—1640.



Сатир и девушка с корзиной фруктов. Около 1615—18 гг.
Картинная галерея. Дрезден.

Возвращение Дианы с охоты. Около 1615—17 гг. Картинная галерея. Дрезден.



Возчики камней.
Около 1620 г.
Государственный
Эрмитаж.
Ленинград.



Вирсавия. Около 1635 г.
Картинная галерея. Дрезден.

вовал в Рубенсе способности улаживать трудные отношения, сглаживать ссоры.

Еще в отрочестве Рубенс послужил пажом в доме графини де Линь в Антверпене; он был светски образован, красив, внушителен и легко справился с поручением. В апреле 1604 года вернувшегося в Мантую художника герцог опять посадил за копии, заставляя делать даже копии собственных копий. Через год с небольшим Рубенс послан снова в Рим, а в 1606 году мантуанский правитель требует художника обратно, хотя Рубенс в то время занят выполнением важного заказа для главного алтаря церкви Санта Мария-ин-Валичелли. Даже ходатайство кардинала Боргезе не помогло: не закончив работы, Рубенс уезжает из Рима. Его уже знают как способного художника, да и сам Рубенс чувствует зреющие в нем силы. Поэтому в октябре 1608 года, прочитав тревожное письмо из Антверпена о болезни матери, Рубенс без колебаний покидает Мантую и отправляется домой. Он не застал матери в живых, и ему остается только достойно почтить ее память.

После восьмилетнего отсутствия Рубенс снова в родном городе, на зеленых берегах Шельды. Ему тридцать второй год, он полон сил и хорошо представляет, чего хочет. Он известен как художник в Италии и Франции, он обласкан при испанском дворе (писал там портреты герцога де Лерма). Только этого обстоятельства достаточно было, чтобы правитель Фландрии эрцгерцог Альберт и инфанта Изабелла приветливо отнеслись к Рубенсу, сделав его придворным художником...

Именно с 1609 года начинается собственно Рубенс, тот живописец, который обессмертил родной Антверпен. До того он еще совершенствовал свою кисть, упражнял глаз и руку на античных мраморах и итальянских шедеврах. Теперь пришло время сказать свое слово.

Так что, очевидно, Рубенс не был вундеркиндом — ни по тогдашним, ни по нынешним меркам. На четвертом десятке начинать самостоятельную жизнь и сформировать свой талант — случай нечастый в истории мировой живописи. И, пожалуй, этим фактом можно объяснить колоссальную работоспособность Рубенса; он словно наверстывал упущенное время. Кстати, именно в то время Испания, оставив за собой Фландрию, заключает перемирие с Голландией, и Антверпен, обескровленный войнами, выглядевший, по словам современника, «большой пустыней», словно пробуждается к новой жизни.

Уже почти никто не вспоминает трагическую судьбу Яна Рубенса, отца художника, доктора теологии и юриспруденции, осужденного в свое время за дерзкую связь с Анной Саксонской, женой Вильгельма Оранского. Яну Рубенсу грозила по тем временам смертная казнь, но, боясь огласки, которая повредила бы репутации легкомысленной баронессы, дело замяли, а семья оказалась в изгнании (там, в вестфальском городке Зигене, и родился в 1577 году Петер Пауль Рубенс). Потом Яна Рубенса обрекли на домашний арест, запретив ему заниматься торговлей и юридической практикой, посещать церкви и даже выходить из дому. В письменных прошениях отчаянный отец семейства доказывал все-таки, утверждая свое бюргерское достоинство, что «доктор, имеющий хотя бы один диплом, может искать руки баронессы, не унизив ее своим предложением». Двенадцать лет страданий и унижений подорвали здоровье отца, и он простился с этим миром, когда Петеру-Паулю было десять лет.

Не удалось фламандскому бюргеру Яну Рубенсу стать своим человеком в «высшем свете». То, что не удалось изгою-отцу, с блеском исполнил сын, добившийся высших почестей от европейских монархов. Ему даровано дворянское звание, он «кавалер, секретарь тайного совета его величества и камер-юнкер ее высочества принцессы Изабеллы». В 1630 году, провожая Рубенса после удачной дипломатической миссии, английский король Карл I пожаловал художника в рыцари Золотых шпор, подарил ему свою шпагу, которая была при короле во время коронации, шнур с королевской шляпы и бриллиантовое кольцо...

Петера Пауля Рубенса часто называют счастливым, блистательным, и для этого есть немалые основания. Унаследовав от матери рассудительность и практичность, он по возвращении в родной Антверпен решает прочно там осесть. В октябре 1609 года Рубенс женится на восемнадцатилетней дочери секретаря городского регентства Изабелле Брант. Широко известен автопортрет художника с молодой женой, парадный бюргерский портрет, еще суховатый, лишенный живописной рубенсовской маэстрии тридцатых годов. Но портрет доносит сквозь века атмосферу спокойствия и душевного единения супружеской четы. Через полтора года Рубенс покупает дом на улице Ваппер рядом с королевским дворцом, перестраивает и украшает свое жилище, создает огромную мастерскую, куда стекаются лучшие молодые художники Фландрии. Рубенс уже не в силах справиться с многочисленными заказами, идущими к нему из придворных кругов испанского наместника, от монастырей и католических орденов, от сиятельных особ... И тогда он ставит производство картин на конвейер, выражаясь современным языком. В Рубенсе открывается еще один талант — великолепного педагога и организатора.

Всего лишь за несколько десятилетий до создания рубенсовской мастерской Микеланджело в Риме собственноручно расписывал потолок Сикстинской капеллы в Ватикане: лежа на помосте, запрокинув голову, он по многу часов писал грандиозные фрески, ежедневно, до изнеможения...

Семнадцатый век создал новый тип художника — придворного деятеля, умеющего выгодно продать свои полотна, разумно организовать труд. Рубенс воплотил в себе этот тип мастера бюргерской Фландрии в высшей степени. Впрочем, работает Рубенс, пожалуй, не меньше, чем его предшественники. В шесть утра после утренней мессы он уже в мастерской у мольберта или за рабочим столом. Десятки эскизов на бумаге и картоне, рисунки пером и карандашом, обход учеников, размещенных в большом зале (каждый из них специализировался на каких-то отдельных элементах картины, а некоторые ученики, наиболее одаренные, работали над целыми композициями по эскизу учителя), потом прописывание уже готовых картин, выполненных учениками. Оно сводилось чаще к тому, что мэтру достаточно было «тронуть» своей кистью отдельные места или «пройтись» по всему полотну... От этого зависела окончательная цена произведения, и в письмах художника к заказчикам четко проводятся различия между вещами, написанными собственноручно, или всего лишь «прописанными» мастером, или только «тронутыми» его безошибочной кистью.

Мастерская Рубенса сразу же стала средоточием талантливых живописцев Фландрии и одним из крупнейших художественных центров Европы. В соседней Голландии что ни город, то своя школа: Утрехт, Амстердам, Гаага, Дельфт... А здесь, во Фландрии, в мастерскую Рубенса стягиваются все талантливые живописцы; можно подумать, что страна, не полностью

освободившаяся от испанского владычества, словно не хочет распылять свои творческие силы, собирает их вместе, чтобы лучше выразить собственное национальное самосознание.

Антверпенские соборы, дворцы испанской и фландрской знати украшаются полотнами Рубенса. Особенно прославила его имя на первых порах картина «Снятие с креста»; она имела необыкновенный успех, и автору пришлось сделать несколько повторений (одно из них находится в Ленинградском Эрмитаже). Художник здесь почти полностью преодолел мощное влияние своих итальянских учителей; а в фигуре стоящей на одном колене Магдалины, в облике цветущей фламандской блондинки уже найден любимый художником тип женской красоты.

В начале 20-х годов Рубенс исполняет сложнейший заказ Марии Медичи, французской королевы-матери, решившей украсить полотнами фламандского художника только что отстроенный Люксембургский дворец в Париже. За три года выполнить 21 картину и три портрета для дворцовой галереи — такое не мог бы сделать никто другой в Европе, хотя итальянские и французские коллеги откровенно завидовали удачливому фламандцу. Одновременно Рубенс пишет десятки мифологических композиций с силенами, вакханками, амурами... Именно в них воплотилась подспудная народная основа рубенсовского мировосприятия, карнавальная природа его творчества, так полно и блистательно выразившая жизневосприятие фламандцев начала XVII века. Но и в религиозных, алтарных образах и в исторических декоративных панно художник остается верен себе: в «Пире у Симона-фарисея», в «Счастливом правлении» или «Коронации Марии Медичи» он прославляет радость жизни, торжество человеческой плоти.

Дразнящая чувственность его образов, пирующие вакхи и силены, вакханки и нимфы, ненасытная жажда упоения этим звучным, полнокровным миром страстей и желаний — как все это совмещалось с иезуитской Фландрией ханжей и монахов, католической мистикой и религиозными канонами? Вопрос трудный, но интересный. Ответ на него надо искать в народном мироощущении фламандцев той поры. Ведь они совсем недавно вместе с северными нидерландскими провинциями воевали против испанских завоевателей. Дух этой освободительной борьбы через двести пятьдесят лет после Рубенса воплотит другой гениальный сын Фландрии — Шарль де Костер в романе «Тиль Уленшпигель»,— там можно почувствовать духовное состояние фламандцев XVI века. Кальвинистская Голландия, утвердившая свою независимость от Мадрида, и католическая Фландрия, пошедшая на временный компромисс с испанцами,— обе страны, хотя и очень по-разному, утвердили свою духовную независимость, национальное сознание.

Ромен Роллан в статье о романе «Тиль Уленшпигель» замечал, что настоящие фландрские божества находятся в народном «Мире Стихии», «на шабаше весенних духов, на пасхе соков земли». Давно замечено, что фламандцы, пожалуй, единственный народ на севере Европы, сохранивший в те годы языческое мироощущение «вакханалии жизни» (выражение И. Репина), упоения праздничным ликом торжествующей земной радости. Восхищение человеческой красотой, которое, по словам Роллана, в других странах Севера почти всегда грубо и принижено, «в стране ярмарочных празднеств умеет сохранить свою глубокую чистоту. В этом прекрасном фруктовом саду, в этой Фландрии, тело — всегда цветок или плод. Его вкушаешь или его вдыхаешь. Полотна Рубенса — вот поэтическая и пышная кладовая Фландрии. Ляжки и бедра «Дочерей Левкиппа» родственны пионам



П. П. РУБЕНС. Автопортрет. Около 1638—1640 гг. Вена.

и пушистым персикам. Здоровая чувственность смеется, изнемогая,— счастливая, как распускающаяся роза».

Характер фламандцев нашел в картинах Рубенса свое убедительное толкование, особенно это относится к женским типам. Только что вышедшая в Москве интересная книга «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы XIX—XX веков. Весенние праздники» позволяет заглянуть в национальные обычаи небольшого, своеобразного народа, населяющего нынешнюю Бельгию. Весенние массовые карнавалы, праздничные шествия, театрализованные уличные представления, сопровождавшиеся необузданным весельем, обряды, связанные с водой и огнями, с пробуждением природы, когда «солнце танцует от радости»,— все это идет еще от дохристианских времен, от римских сатурналий. Народный календарь фламандцев знал немало поистине языческих «дней безрассудств и шалостей» с обильной едой и питьем, с плясками и хороводами. Не поискать ли здесь истоков праздничной, карнавальной рубенсовской живописи, учитывая, конечно, требования «большого стиля» барокко? Никто — до и после Рубенса — с таким упоением и свежестью не писал женское тело, цветущее, теплое и нежное. Переливы золотистых, жемчужно-серых, голубых тонов передают очарование и трепет живой плоти, горячий блеск глаз, мерцание вьющихся локонов. Гвидо Рени как-то полушутя говорил Рубенсу, что тот, наверно, подмешивал в свои краски немного натуральной человеческой крови. Как бы то ни было рубенсовские вакханки, нимфы, пастушки и сатирессы, полные несколько тяжеловатой грации, излучают жизнь и радость. Конечно, у этой

праздничной живописи есть свои пределы; ей недоступны духовные глубины мысли и чувства, раскрываемые, например, современником Рубенса — Рембрандтом, жившим недалеко от Антверпена, за рекой Маасом, в Голландии. Рубенс, кажется, и не догадывался о подобных задачах. Странно только, что во время поездки в Голландию в 1636 году Рубенс посетил всех знаменитых нидерландских художников, исключая... Рембрандта. И в письмах своих ни разу не упомянул его имени. А молодой Рембрандт в 30-е годы был достаточно известен в родной стране. Впрочем, оба великих художника ставили перед собой прямо противоположные творческие задачи, и каждый достиг своих вершин. Разница только в том, что Рембрандт умер в нищете и забвении, а Рубенс — в блеске прижизненной славы.

При жизни он действительно был удачлив — в творческой судьбе, в умении ладить с людьми, в семейной жизни. Почти семнадцать лет он безмятежно счастлив с Изабеллой Брант, и смерть ее в 1626 году перенес как сильное потрясение. «Она не была ни суровой, ни слабой, но такой доброй и такой честной, такой добродетельной, что все любили ее живую и оплакивают мертвую,— писал художник своему другу.— Эта утрата поражает меня до самых глубин моего существа...» Почти пять лет он проводит в путешествиях, дипломатических поездках, пытаясь найти «единственное лекарство от всех скорбей — забвение, дитя времени», и, вернувшись в 1630 году в Антверпен, Рубенс, уставший, входит в опустевший дом...

Он добился многого, но им владеет одно желание — быть подальше от капризов и прихотей сиятельных особ, полностью погрузиться в любимую живопись. В письме к французскому ученому и библиофилу Пейреску Рубенс пишет, что «возненавидел дворы» и понял, «как медлительны государи, когда им приходится платить, и насколько легче им творить зло, чем добро». Таких резких слов в письмах сдержанного, светски воспитанного фламандца немного — тем больше они впечатляют.

И все же последнее десятилетие жизни Рубенса не прошло в эмоциональных сумерках; оно освещено жаркой, захватывающей любовью, вспыхнувшей в сердце пятидесятитрехлетнего художника к Елене Фоурмен, шестнадцатилетней дочери торговца шелком Даниэля Фоурмена. Художник давно был связан с этим домом: сын Даниэля Фоурмена был женат на Кларе, сестре первой жены Рубенса. В семье почтенного бюргера с его одиннадцатью дочерьми художник провел немало вечеров; его внимание вначале привлекла Сусанна — сохранилось несколько ее портретов, выполненных Рубенсом (особенно известен один из них под названием «Соломенная шляпа»). Но — как в старых сказках — младшая дочь была самой прекрасной, и в декабре 1630 года художник обвенчался с юной Еленой в церкви Святого Якова. Рубенс не любил открывать свою душу даже близким друзьям, и в письме к Пейреску, датированном 1634 годом, он объясняет свой выбор не только чувством любви.

«Я решил снова жениться,— пишет художник,— потому что не чувствовал себя созревшим для воздержания и безбрачия; впрочем, если справедливо ставить на первое место умерщвление плоти, то будем пользоваться дозволенной страстью с благодарностью. Я взял молодую жену, дочь честных горожан, хотя меня со всех сторон старались убедить сделать выбор при Дворе; но я испугался обычной для знати дурной черты — надменности, особенно сильной у этого пола. Я хотел иметь жену, которая бы не краснела, видя что я берусь за кисти, и, сказать по правде, мне показалось жестоким потерять драгоценное сокровище свободы в обмен на поцелуи старухи».

Эти рассудительные слова 57-летнего художника только скрывают эмоциональное состояние, владевшее им после женитьбы на Елене Фоурмен. Гораздо более красноречива его кисть. Достаточно сравнить портреты Изабеллы и Елены, чтобы понять Рубенса. Если отношение к первой жене отличалось спокойной, ровной нежностью, то любовь к Елене Фоурмен вылилась в бурную, всепоглощающую страсть. Бюргерски благопристойная Изабелла в затянутых платьях и ослепительная красота Елены в знаменитой картине «Шубка»... Он изображает свою юную спутницу в брачном одеянии и в повседневной одежде, полуодетой и обнаженной, одну и с детьми, дома и в саду, улыбающейся и сдержанной, серьезной и мечтательной... Фигура и лицо Елены проходят через многие композиции Рубенса 30-х годов — мифологические, аллегорические, героические, даже религиозные; она выступает то в облике Венеры, останавливающей Марса, то в виде нимфы, преследуемой сатиром, или юной богоматери, наставляемой Анной,— вот где выражены истинные чувства, переполнявшие художника. Весь мир для него сосредоточился в Елене; она принесла новую весну в его жизнь, новых детей в его дом и новое вдохновение в его искусство; она помогла ему почувствовать себя в шестьдесят лет таким же юным, как в двадцать... И сегодня, спустя три с половиной столетия, рубенсовская Елена известна в мире не меньше, чем Елена греческая: портреты фламандской Елены радуют людей в музеях Мюнхена, Вены, Ленинграда, Гааги, Амстердама, Парижа, Мадрида, Нью-Йорка...

Последнее десятилетие оказалось лучшим в творческой судьбе Рубенса. Он обращается к пейзажу и к сценам народной жизни. Художник все чаще предпочитает писать небольшие полотна — собственноручно, не прибегая к помощи учеников. Жестокий ревматизм разламывает и сковывает его суставы; едва оправившись от приступов болезни, он снова идет к мольберту.

В 1640 году художник умер от паралича сердца.

...На Зеленой площади Антверпена, в центре города, сегодня стоит бронзовый Рубенс, приветливо встречая прохожих. Он изображен в просторной блузе-безрукавке, в шароварах и сапогах, у ног его — палитра с кистями... Здесь долгое время в летние вечера по средам и субботам давались концерты в честь художника. И часто в Бельгии, когда хотят сказать об Антверпене, говорят просто «родина Рубенса». Наверно, это и есть самые лучшие слова, которые хранит народная память о великом фламандце.

●



Галина
КОРНИЛОВА

СОЗВЕЗДИЕ РАКА

РАССКАЗ



Рисунок
Г. ПОНДОПУЛО.

Мы были с ней подругами, хотя я всегда считала ее человеком не очень интересным, даже ограниченным, но все-таки добрым. Как-то уж так получилось, что мы стали подругами, и она всюду таскалась за мной словно тень. Но странное дело, всем вокруг казалось, что тень — это как раз я. Люди, попадавшиеся нам на улице, в кино или на бульваре, всегда замечали ее, а не меня. Они улыбались ей, останавливались возле нее, заговаривали с ней. Меня же при этом словно здесь и не было, мною они ничуть не интересовались.

Но не надо думать, что от этого у меня развивались всевозможные комплексы и переживания. Ничуть я не переживала. Я скромненько стояла в стороне, слушала, что они ей говорили — всегда одно и то же,— и дожидалась своего часа. Примерно минут через сорок они обращали свое снисходительное внимание и на меня. Оглядывались как бы нехотя, искоса бросали взгляд и тут же, отвернувшись, что-то говорили ей. Потом глядели еще раз с любопытством, слегка удивившись чему-то. А потом вдруг выяснялось: разговаривают они вовсе не с ней, Лелькой, идут не за ней.

Объяснение всем этим вещам я нашла позже в одной старой книжке с таким названием: «Люди и знаки Зодиака». Весь фокус, оказывается, заключался в том, что я была человеком Рака. В той книжке говорилось: человек, рожденный под созвездием Рака, обладает одним удивительным свойством — он способен вести за собой людей, тайно руководить другими.

Я тайно руководила своей подругой Лелькой, хотя это мог делать без всякой тайны кто угодно. Потому что Лелька была существом фантастически вялым и пассивным. Но зато она была красивой. Она была самой хорошенькой девочкой в нашей школе, и поэтому абсолютно никого не интересовало, активна она или пассивна, глупа или умна. Она была красивой, а значит, и умной. И, несмотря на замечательные качества людей Рака, дружба наша с Лелькой со стороны выглядела вот так: ходит себе очень хорошенькая девочка с розовым, как у куклы, личиком и таскает за собой непонятно что, пустое место, тень.

Один только раз Лелька на моих глазах проявила инициативу, когда решила записаться в юношескую театральную студию. Неизвестно, что это на нее вдруг нашло, только однажды утром Лелька встретила меня у дверей класса и затараторила в необычном для нее возбуждении:

— Ты видела? Объявление в раздевалке? Как же ты не видела? Набор в юношескую театральную студию. Сегодня к нам в школу приедет режиссер и будет отбирать. Представляешь? Нужно прочесть басню или стихотворение. Знаешь,— Лелька в смущении потупилась,— я хочу попробовать. А ты не хочешь?

Последнюю фразу она произнесла неуверенно. Она и сама прекрасно понимала, что мне-то в театральной студии делать нечего. Действительно, что мне там делать с моей никакой внешностью? Смешно было даже думать об этом. Но я и не собиралась думать. Меня нисколько не интересовала какая-то студия. Тоже мне занятие — кривляться перед толпой совершенно незнакомых людей!

Лелька же по своему обыкновению уже начинала ныть:

— Пойдем туда со мной, а? Ну прошу тебя, чего тебе стоит! Одна я просто умру со страха.

— Чего тебе бояться? — удивилась я.— Ты что думаешь, тебя не примут? Да тебя в любой театр примут, если только ты захочешь.

Все девчонки нашей школы считали, что Лелька с ее светлыми кудряшками и большими голубыми глазами — вылитая Людмила Целиковская. Кого же, как не ее, принимать в эту студию?

В конце концов я уступила Лелькиным мольбам и согласилась пойти вместе с ней в кабинет биологии после пятого урока. Там должно было начаться прослушивание. Хотя гораздо больше хотелось мне идти домой и поскорее дочитать книгу А. Дюма «Двадцать лет спустя».

Когда прозвенел последний звонок, я пошла в раздевалку, взяла с вешалки свое пальто и накинула его на плечи.

— Чегой-то ты? — удивилась Лелька, увидев меня.— И так жарко...

— А мне, наоборот, холодно,— отрезала я.

Я знала, что за пальто мне могло здорово влететь от завучихи, встреться я с ней где-нибудь в коридоре. Но зато теперь не видно было заплат, красующихся на локтях моей вязаной кофточки. Каждый раз мама уверяет меня, что заплаты совершенно незаметны. Кроме того, она всегда сообщает, что в моем возрасте носила одну-единственную вязаную кофту поочередно с тремя сестрами. И уж на той-то доисторической кофте вообще живого места не было. Но все это было для меня довольно слабым утешением.

Когда мы с Лелькой поднялись наконец на четвертый этаж, то увидели перед дверью кабинета биологии целую толпу. Тут было несколько восьмиклассников, человека три из седьмого «А», параллельного с нами класса, один мальчик в очках из шестого, две неразлучные подружки из девятого, исполняющие на школьных вечерах дуэтом песню про тонкую рябину, и даже одна великовозрастная дылда из десятого.

Тихо переговариваясь друг с другом, они то и дело поглядывали в другой конец коридора, где находилась учительская. С минуты на минуту оттуда должен был появиться режиссер театральной студии.

Вдруг двери учительской широко распахнулись. Сначала в коридоре появилась наша старшая пионервожатая Соня, а следом за ней из учительской вышла высокая женщина в темном шелковом платье с маленькой, тоже темной шляпкой на голове. Парочка, которая двигалась сейчас от учительской к нам, выглядела очень смешно. Толстенькая, коротконогая Соня в сбитом на сторону красном галстуке (концы его, как всегда, болтались у нее где-то на плече) катилась по коридору, словно колобок. Мадам в шляпке плыла рядом с ней, выпрямив спину и величественно откинув назад голову. Издали она была похожа на «Неизвестную» художника Крамского, которая только что вылезла из своей коляски.

Еще не дойдя до нас несколько шагов, пионервожатая Соня заговорила-затараторила:

— Ребята, внимание! Вот это режиссер театральной студии Анна Максимовна Астахова. Она прослушает вас всех по очереди. Я прошу вас соблюдать дисциплину, не шуметь и не толкаться. Помните, что вы пионеры и комсомольцы...

Режиссерша из-за Сониного плеча важно наклонила к нам свою шляпку, и тогда мы увидели вот что: вся эта особа была накрашена. Черной краской у нее были подрисованы брови, ярко-красной — губы, а на лбу, щеках и на крупном носу с горбинкой лежал слой белой пудры.

— Дети! — заговорила раскрашенная режиссерша низким, глубоким голосом.— Сейчас каждый из вас исполнит какое-нибудь стихотворение или басню. При желании можно прочесть и отрывок из прозаического произведения.

— А если свои стихи, то можно читать? — пропищал вдруг рядом со мной очкарик-шестиклассник, и все сейчас же повернулись в его сторону.

— Конечно, можно,— улыбнулась Анна Максимовна.— С тебя мы и начнем. Минут через пять зайдешь сюда в класс и прочтешь мне свои стихи.

С этими словами она исчезла за дверью кабинета биологии. Вожатая Соня поправила галстук, пожелала нам всем «ни пуха ни пера» и понеслась дальше по своим многочисленным неотложным делам.

Режиссерша театральной студии мне сразу же ужасно не понравилась. Можно сказать, что я ее возненавидела с первого взгляда. За что? На этот вопрос я, наверное, не смогла бы даже ответить. Скорее всего дело заключалось в том, что она была поразительно не похожа на мою мать, моих теток, наших соседок по коммунальной квартире и даже на учительниц школы, где я училась. На женщин бедных послевоенных лет, донашивающих платья, сшитые перед войной, стесняющихся накрасить ярко губы, не имеющих денег на то, чтобы купить флакон духов. Жгучее чувство, овладевшее мной при виде режиссерши, точнее всего можно было бы определить словами «классовая ненависть». Хотя известно, что антагонистические классы в нашей стране давно ликвидированы.

Желая поделиться с Лелькой своими ощущениями, я выразительно посмотрела на нее и неодобрительно покачала головой. Но Лелька меня не поняла. Она глядела бессмысленно куда-то в пространство и при этом что-то беззвучно шептала. Наверное, повторяла про себя басню «Кот и повар», которую собиралась читать. Будь Лелька немного поумнее, она и сама могла бы сообразить, что учиться у этой расфуфыренной и раскрашенной дамочки ей нечему. Но ни о чем таком Лелька даже и не думала. Она протиснулась вперед и теперь прижималась ухом к двери класса.

— Читает, читает! — зашипела она, словно гусыня, и вся толпа тоже полезла к дверям в надежде что-нибудь услышать. Но тут скоро в коридоре показался сам экзаменующийся поэт-очкарик. Вид у него теперь был довольно сконфуженный.

— Велела подождать,— объявил он в ответ на расспросы и недоуменно пожал плечами.

— Значит, тебя приняли,— убежденно сказала Лелька.— Если бы не приняли, зачем тогда ждать?

Вслед за поэтом в кабинет биологии отправилась каланча-десятиклассница, а за ней подружки-певуньи из девятого. Выходили они все оттуда смущенные, с красными, растерянными лицами. Похоже было на то, что режиссерша не очень-то спешит брать их в свою студию.

Тем временем подошла и Лелькина очередь. Не только я одна, все ребята, собравшиеся в коридоре, в один голос уверяли мою подругу, что ее-то примут обязательно. Среди девчонок, желающих записаться в студию, просто не было ни одной, которая могла бы соперничать с Лелькой красотой. Сама же Лелька хоть и рассказывала всем, что умирает от страха, однако впорхнула в дверь класса довольно бойко, взбив предварительно обеими руками свои пышные кудри.

Оставалась Лелька в кабинете биологии очень недолго, пожалуй, меньше, чем все остальные ребята. Не успели мы оглянуться, как она уже выходила оттуда, прижимая к глазам чистый носовой платок.

— Ты что?! — Я подбежала к ней, расталкивая ребят, повела ее к окну.— Не приняли? Не может быть!

Лелька затрясла головой и всхлипнула. Толпа вокруг нас тихо ахнула.

— Да что она вообще понимает! — возмутилась



я.— Подумаешь, режиссер! Я так и знала, что она ничего не понимает. Сразу же видно. Брось ты реветь, Лелька! Ты пойдешь в городской Дом пионеров, и тебя запросто примут. Знаешь, какая там студия!

Пока я утешала Лельку, из кабинета биологии вышло еще несколько человек. Прослушивание было закончено. Теперь они все ждали, что скажет им в заключение режиссерша. Даже Лелька, несмотря на мои уговоры плюнуть и пойти домой, не трогалась с места.

Наконец Анна Максимовна показалась на пороге. Шляпки на ее голове уже не было, темные волосы были стянуты на затылке в тяжелый узел. Пронзительными, сверкающими из-под черных бровей глазами она быстро оглядела притихших ребят и вдруг повернулась ко мне:

— Вот ты, девочка, еще не была. Заходи, пожалуйста, я жду.

И повернувшись, исчезла опять за дверью.

Я стояла как столб и в изумлении глядела на эту дверь, а ребята вокруг меня шумели.

— Иди! — крикнул мальчик в очках.— Она же ждет!

— Иди! — строго повторила десятиклассница и, осуждая меня, покачала головой.

— Иди! — хором выкрикнули певицы.

— Иди, иди,— горячо зашептала мне в самое ухо Лелька.— Прочти ей «Свинью под Дубом», ну что тебе стоит!

И тогда я вошла в кабинет биологии. Только потому, что мне казалось невежливым заставлять ждать себя взрослого человека. Пусть даже этот человек мне очень не нравится. Конечно, никаких басен я ей читать вовсе не собиралась. Я вошла в класс лишь для того, чтобы объяснить: произошло недоразумение, и я совсем не собираюсь поступать в ее студию.

Кабинет биологии похож был на тропический лес. Вьющиеся растения выползали из горшков, карабкались по стенам и окнам, и среди листвы верещала парочка попугаев-неразлучников. Можно было догадаться, что в этом лесу водились также свирепые хищники-людоеды. Потому что в углу под хилой пальмой притулился аккуратно обглоданный человеческий скелет.

Здесь пахло сырой землей, листьями, меловой пылью, а когда я приблизилась к столу, остро запахло духами, которыми надушилась режиссерша. Она сидела за столом в такой позе, словно под ней было мягкое удобное кресло, а не обычный стул. Откинувшись на спинку «кресла» и заложив ногу за ногу, она чуть постукивала пальцами с багровыми ногтями по столу. Она небрежно кивнула мне, давая

понять, что готова слушать. Я открыла рот, чтобы объяснить ошибку, посмотрела еще раз на ее белое лицо и красные ногти и неожиданно для себя самой громко и злобно сказала:

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой...

Конечно, я любила эти стихи за то, что Лермонтов оплакивал в них самого любимого мною на свете человека — Пушкина. Для него он тоже был самым любимым. Но мне они нравились еще и потому, что каждая строчка в них как будто клокочет от ярости и ненависти к людям, погубившим поэта. В туманном моем воображении эти «надменные потомки» рисовались сейчас очень похожими на облаченную в шелка, крашеную режиссершу.

Глядя прямо в ее напудренное, бледное лицо, я упоенно, набирая силу, перешла к строфам про жадную толпу у трона, где каждое слово бьет, как пощечина. Я орала их на всю школу, прямо заходилась в своей классовой ненависти, а когда закончила, то вдруг подумала: сейчас она поднимется и вышвырнет меня отсюда. Или побежит жаловаться директору. Но на что? Я скажу тогда, что всего лишь прочла ей известное стихотворение М. Ю. Лермонтова.

Но она пока не вставала и никуда не бежала. Снизу вверх она пристально глядела на меня, а с ее носа тихо осыпалась на стол пудра.

— Ты училась где-нибудь? — наконец спросила она. — Ты когда-нибудь играла на сцене?

Я отрицательно покачала головой. Никогда в жизни я не играла ни на какой сцене. Зато дома, едва уходили из квартиры взрослые, я разыгрывала для самой себя целые спектакли. Я вытаскивала из книжного шкафа толстую книгу, на коричневом переплете которой золотом было написано: «Вильям Шекспир. Избранные произведения». Я раскрывала ее на «Короле Лире» и раскрытой клала на диван. А потом мир переставал существовать для меня. Как в лихорадке, металась я по нашей тесной, заставленной громоздкой и совершенно ненужной мебелью комнате. Я вздевала к потолку руки, падала на колени на пол, брела вдоль стены, слепо ощупывая углы бабушкиного сундука и верблюжий горб швейной машинки «Зингер». Лицо мое то искажал гнев, то заливали его потоки самых настоящих слез.

Ибо почти одновременно я становилась то нежной Корделией, то ее бессердечными сестрами, то благородным Эдгаром, то ничтожным Эдмундом. Но самое главное — я была несчастным королем Лиром, изгнанным из своего королевства, обманутым и оскорбленным. Мои ноги увязали в жидкой грязи, дождь мочил мою одежду, но, не замечая ничего этого, брела я сквозь ночь, поглощенная одной мыслью, которая терзала мое сердце:

...В душе смятенной буря
Все чувства заглушила, бьется тут
Одно: дочерняя неблагодарность!..

Когда я вдруг запиналась, забыв текст, я бросалась к дивану, отыскивала нужную строчку и снова неслась навстречу дождю и ветру...

Разумеется, ничего этого я не могла рассказать женщине, сидевшей передо мной за столом. Да и зачем было рассказывать?

Между тем она все-таки поднялась со своего места, прошелестев шелком платья, пошла мимо меня к дверям.

— Дети! — услышала я у себя за спиной ее голос. — Заходите все сюда.

И когда «дети» один за другим втиснулись в тесный проход между партами, она опять повернулась ко мне.

— Я хочу, чтобы ты почитала еще. Пусть они тоже послушают. Прочти какое-нибудь стихотворение или, может быть, басню. Вы же в школе учите басни...

Я шевельнулась и сбросила свое пальто на парту. Плевать на эти заплаты — мне казалось, что от невозможной жары у меня на спине между лопатками образовалась лужа. Я все еще стояла посреди класса, молча, уставившись в синее окно, по которому ползли вверх завитки листочков. Пока не почувствовала, как на плечи мне наваливаются дряхлость и безысходная тоска короля Лира. Свирепые ветры стронулись с меловых холмов Британии и все разом ударили мне в лицо. Согнувшись под их ударами, чувствуя, как ливень просачивается сквозь одежду, я горестно воскликнула:

— В такую ночь
Прогнать меня!
Лей, лей, я все стерплю!
В такую ночь...

Изо всех сил боролась я не только с этим дождем и ветром, а еще и с темным безумием, которое надвигалось на меня вместе с разбушевавшейся стихией, и все-таки нашла силы, заставила замолчать свою, кричащую в голос тоску:

— Ни слова больше!..

Когда, переведя дыхание, я подняла глаза, то увидела прямо перед собой Лелькино лицо. Рот у нее был полуоткрыт, глаза вытаращены. Как никогда, она была похожа на глупую куклу, выставленную в витрине магазина игрушек.

Среди полной тишины раздался снова голос Анны Максимовны:

— Это, — негромко говорила она, обращаясь к ребятам, — монолог короля Лира из драмы Шекспира «Король Лир». — Она повернулась, посмотрела на меня, потом продолжала: — Я хотела собрать вас всех здесь, чтобы объяснить, что такое талант и какими качествами нужно обладать, чтобы играть на сцене. Но я надеюсь, что теперь, когда вы ее послушали, вы многое поняли и без моих слов. Верно?

Ничего они не поняли, однако все разом закивали головами. А мальчик-поэт из шестого класса пропищал:

— Она как настоящая артистка...

— Она и есть артистка, — сказала режиссерша и положила мне руку на плечо. — То есть я хочу сказать, что у нее есть настоящие способности. Но, конечно, нужно еще много работать.

Они все столпились вокруг и пялили на меня глаза, как на какое-нибудь чудо-юдо. И тут вдруг в самый неподходящий момент я с ужасом почувствовала, что начинаю дико краснеть. Сначала у меня запылали щеки и вспотел лоб, потом жар пополз куда-то вниз, к шее. Я стояла перед ними и постепенно наливалась жуткой краснотой, как поспевающий на солнце помидор. Даже уши нестерпимо горели у меня под волосами.

И все это происходило оттого, что человек Рака — как было сказано в той же самой старой книге — по своей природе необыкновенно застенчив.

●





Виктор ЕРМИЛОВ,
Герой Социалистического Труда, слесарь московского станкостроительного завода «Красный пролетарий» имени А. И. Ефремова

будьте преданы делу

Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» имени А. И. Ефремова имеет давнюю историю. Он был основан еще в середине прошлого века. Однако подлинное свое рождение пережил уже после Октября, в годы первой пятилетки. Тогда здесь был сконструирован знаменитый советский токарный станок «ДИП» («Догнать и перегнать капиталистические страны»).

В это время и пришел на «Красный пролетарий» Виктор Васильевич Ермилов. В судьбе слесаря Ермилова прослеживается не только история становления крупного советского промышленного предприятия, но и развитие новых социалистических отношений между людьми, рост самосознания рабочего человека, его путь к управлению государством.

Многогранна деятельность рабочего В. В. Ермилова. Он избирался делегатом XXII, XXIII и XXIV съездов партии, был депутатом Верховного Совета СССР двух созывов, членом ЦК КПСС, членом комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства, заместителем председателя Общества дружбы с ГДР. За свою трудовую деятельность Ермилов удостоен звания Героя Социалистического Труда, многих правительственных наград. Почти полвека отдал Виктор Васильевич родному заводу и сейчас продолжает трудиться на самом сложном участке производства, передавая свой богатый жизненный опыт молодежи.

Как-то во время поездки по одной братской стране мне довелось побывать на заводе электронно-вычислительной техники. Собеседниками моими были немолоды уже рабочие, люди моего поколения, седовласые и седоусые. Тем не менее разговор у нас все время шел вокруг молодежных проблем· кто приходит на смену ветеранам? Какие они, рабочие ребята нынешнего поколения? Некоторые мои коллеги сетовали на легкомыслие нового пополнения рабочего класса, отсутствие должного трудолюбия, терпения, недостаточную гражданскую зрелость. Помню, я сказал тогда своим коллегам:

— Вы создаете машины, которые будут работать в пределах той информации, какую заложите в них. Так и с молодежью: если мы не заложим в их го-

На снимке: В. В. Ермилов со своими воспитанниками Валентином Крутовым и Владимиром Березовским.

Фото Л. ГЛАГОЛЕВА.

явшей длинную очередь за само-клеющимися обоями.

Хотя Шилов, живя один с сыном-школьником, большую часть свободного времени действительно проводил в очередях, и очень часто зря, причиной печали сейчас являлось нечто другое. Вот уже вторую неделю его сын Василий, ученик четвертого класса, приносил на полях своего дневника трагические записи классной руководительницы Людмилы Ивановны.

Содрогаясь, Шилов читал эти короткие, как телеграммы, сообщения: «Ваш сын держал дверь в учительской и не пускал учителя на урок», «Спрятался под парту и ел пломбир в стаканчике», «Залез на третий этаж по пожарной лестнице», «Выпустил ежей из живого уголка» — с постоянной припиской: «Прошу зайти в школу».

Сегодня Дмитрий Алексеевич наконец решился предпринять что-нибудь в смысле воспитания.

— Нужно поговорить! — стоя спиной к Васе и сосредоточенно помешивая кипящий бульон, сказал Шилов-отец.

Шилов-сын бодро подмел яичницу, отодвинул тарелку и с нагловатой невинностью глянул на папу.

— Как мужчина с мужчиной? — басом спросил он.

Вася знал, что все эти нудные разговоры по душам сводились к одному — пострадавшая сторона призывала его войти в ее положение, так как ей трудно, поскольку она, видите ли, одна. На

за руку и потащил его к зеркалу.

— Смотри! — властно потребовал он.

Шилов слегка растерялся. Из темной зеркальной рамы на него глядел рыхлый, несмотря на неполные тридцать шесть, человек в дешевом клетчатом пиджаке. Человек, которому явно не мешало постричься.

— Да, не очень...— согласился он.

— Что не очень?! Что не очень?! — возмутился сын.— Да ты классный мужик! Рост один чего стоит! А лицо? Лицо Штирлица!

Шилов внимательно посмотрел на Васю, стараясь прочитать на лице усмешку. Но мальчик был серьезен.

— А теперь подумай, кто она! — сказал Вася.— Если разобраться, что она из себя представляет...

— Кто — она? — не понял Дмитрий Алексеевич.

— Кто, кто! Людмила Ивановна! Думаешь, почему она ко мне придирается?

— Спрятался под парту... Выпустил ежей...

— Ха-ха! — оборвал его Василий.— Ничего ты не понимаешь, она в тебя влюблена! По ушки! Все в классе об этом говорят. Вот она и пишет «Зайдите в школу, зайдите в школу...» Тут ребенок поймет...

От неожиданности Дмитрий Алексеевич даже вспотел. Было

темно-синем пиджаке с металлическими пуговицами направился в школу, в которой проходил обучение его сын Василий. На перекрестке купил он букет красных гвоздик; проходя мимо витрины, Дмитрий Алексеевич взглянул на свое отражение, и сердце его затрепетало.

«Будь мужчиной!» — приказал себе Дмитрий Алексеевич и вошел в школьные ворота.

Ему повезло — Васина учительница сидела в учительской одна. Шилов решил сразу же приступить к делу:

— Людмила Ивановна... зря вы это... совершенно напрасно... Ну чем я... можно сказать... ну как бы это... за что?.. Короче, вот!

Он криво улыбнулся и протянул учительнице цветы.

— Ах, гвоздики! Мои любимые цветы! — вспыхнула и засуетилась Людмила Ивановна, ища керамическую вазу. Но ваза была занята карандашами.

— Да не волнуйтесь вы так,— бормотала Людмила Ивановна, наливая воду прямо в карандаши и ставя туда цветы.— Ну что поделаешь... Ну успокойтесь... Тяжело, конечно... Я прекрасно вас понимаю...

— А я вас,— осмелел Шилов.

Дмитрий Алексеевич многозначительно взглянул на учительницу и подумал, что она очень милая и на вид ей не больше двадцати пяти. У нее было фарфоровое, немножко японское лицо, гля-

Александр ИВАНОВ

Литературная пародия

ЧИСТЫЕ ГЛАЗА ИСКУССТВА

(Виктор Лихоносов)

Егора приняли.

Он уже слышал о Яблочкиной, шел как-то по Трифоновке за Раиевской, видел, как Жаров выпил однажды стакан компота.

Он был носат, сутуловат, чуть кривоног, слегка хромал и заикался. В театральное он прошел с триумфом.

Льняные кудри падали на его широкие плечи. Девочки его любили.

Но больше всех поражал Варсонофий.

В убогой комнатушке общежития он появлялся внезапно.

— Морды! — кричал он, запуская дырявым сапогом в венецианское зеркало.— Заразы! Что вы знаете о святом искусстве, рожи! Что вы лыбитесь, как троглодиты? Пресвятая Маруся, я был невинным! Где у вас туалет? Я играл короля Лира! Я так играл короля Лира, что Михоэлс хотел бросить сцену. В меня. Не подходите, я вас уроню! Квазимоды! Я хочу в сумасшедший дом, но меня не берут! Балда, ты не читал Баркова... Я талантливый! Поклянитесь, что я вам уже дорог! Сдавайте карты, кретины! Мы встретимся на кладбище. Меня погубила старая стерва Занзибарская. Ее подучил геморрой-любовник не то из Вологды, не то из Керчи. Вы смотрели «Кубанские казаки»? Там должен был играть я. Морды! Вы меня не забудете? Со святыми упоко-о-ой! Рожи! Не перебивайте меня, я припадочный!!

Егор икал от удивления. Столица!

— Ты чу-удный! — говорила Лиза, целуя его.

Его дела шли блестяще. Поцеловав Лизу, он шел к Наташе. Целуя, она прочила ему славу Николая Симонова, имея в виду Константина, потому что Евгений уже тогда был у вахтанговцев.

Целуя ее, он мужал.

Потом бросил все и уехал в Сибирь. Оттуда через Мангышлак махнул на Дон. Написал Варсонофию.

«Морда,— писал он,— ты меня не забудешь? Искусство — это не для меня. Я жить хочу. Наташа любила меня, а я обозвал ее трубадурой. На том свете меня поставят вниз головой. Я хочу быть кочегаром, плотником и монтажником-высотником. Пиши мне, кретин, а я тебе. Потом мы издадим нашу переписку и станем прозаиками. Резервуар, как говорят французы. Целую в диафрагму. Твой Егор».

Прочитав письмо, Варсонофий заплакал.

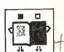
— Господи,—вздохнул он.— Писали же о нас когда-то... «Театральный роман» вот помню...

А теперь?..



Рисунок И. ОФФЕНГЕНДЕНА.

В НОМЕРЕ



ПРОЗА

